

Фрэнсис Скотт
ФИЦЖЕРАЛЬД

Последний магнат



Ф.С. ФИЦЖЕРАЛЬД

© F. Scott Fitzgerald «The Love of the Last Tycoon» 1940
Перевод О. Осоки
© «Im-Werden-Verlag», 2002

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Глава I

Я выросла в мире кино, хотя ни разу не снималась. На день рождения ко мне, пятилетней, пришел Рудольф Валентине, — так гласят предания. Я упоминаю об этом, только чтобы показать, что с младенческого возраста могла видеть, как вертятся шестеренки Голливуда.

Одно время меня подмывало написать „Записки дочери продюсера“, но в восемнадцать лет не очень это у вас выйдет — засесть за мемуары. И хорошо, что не села: получилось бы нуднее, чем позапрошлогодня колонка Лолли Парсонс. Мой отец на производстве фильмов делал бизнес, как делают бизнес на хлопке и стали, и меня это мало тревожило. Прозу Голливуда я принимала с безропотностью привидения, назначенного обитать в таком-то доме. Я знала, что кинобизнесом надлежит возмущаться, но возмущение упорно не желало приходить.

Легко сказать так, но труднее добиться, чтобы тебя поняли. В Беннингтоне, где я училась, иные из преподавателей литературы притворялись, будто равнодушны к Голливуду и его продукции. А на самом деле — ненавидели, всеми печенками ненавидели кино, как угрозу своему существованию. А еще раньше, в монастырской школе, милая монашенка попросила у меня какой-нибудь киносценарий, чтобы по нему „разобрать с ученицами, как сочиняют фильмы“; как сочиняют эссе и рассказы, она уже разбирала. Я достала ей режиссерский сценарий, и она, должно быть, ломала, ломала себе над ним голову, в классе же ни разу не упомянула о сценарии и вернула мне его обратно с оскорбленно-удивленным видом и без всяких комментариев. Как бы и эту мою повесть не вернул мне так читатель.

Можно принимать Голливуд, как я, — спокойно и привычно, — а можно отмахиваться от него с презрением, какое мы приберегаем для того, чего не понимаем. Понимание-то здесь достижимо, но лишь смутное, проблесками. Не наберется и полудюжины людей, кто смог когда-либо вместить в уме всю формулу и тайну фильмотворчества. И разобраться в одном из таких людей — вот для женщины средство поглубже вникнуть в этот сложный мир.

Ту картину мира, которая открывается с самолета, я знала. Отец всегда отправлял нас с сестрой из Лос-Анджелеса по воздуху — в школу, затем в колледж, — и домой на каникулы мы тоже летали. Когда я перешла на второй курс, Элинора умерла, и пришлось уже одной летать, и всегда она в полете вспоминалась, и я как-то серьезнела, грустнела. Иногда в самолете мне встречались знакомые голливудцы, а порой симпатичный студентик, но нечасто — наступили уже годы кризиса. Во время полета мне редко давали уснуть мысли о сестре и это ощущение резкого рывка от побережья к побережью; настоящий сон приходил разве лишь, когда позади оставались уже теннессийские аэропорты — небольшие, стоящие на хмуром отшибе.

На этот раз мы летели в непогоду, самолет так болтало, что одни пассажиры сразу же откинули назад спинку кресла и отошли ко сну, а другие предпочли не спать вовсе. Двое из неспавших были мне соседями — я слева от прохода, они справа, — и по их отрывочному разговору я уверенно заключила, что они голливудцы. Один и выглядел типично — немолодой еврей, он то говорил с нервной горячностью, то умолкал издерганно, весь сжавшись, словно собравшись для прыжка; второй же был бледный, некрасивый, коренастый человек лет тридцати, которого я определенно видела где-то раньше. В гости он приходил к нам, что ли. Но, возможно, я еще маленькой тогда была, — и я не торопилась обижаться, что он не узнал меня.

Стюардесса — высокая, статная, яркая брюнетка, к каким у авиакомпаний слабость, — спросила меня:

— Может, наклонить вам спинку кресла?.. Аспирин не хотите, милая? — Она шатко пристроилась на подлокотник кресла рядом, покачиваясь в такт порывам июньского циклона. — Или нембутала таблетку?

— Нет.

— Не спросила вас раньше, провозилась с остальными пассажирами. — Она села в кресло, пристегнула нас обеих предохранительным ремнем. — А пожевать резинку не хотите?

Это напомнило мне, что пора уже расстаться с резинкой, давным-давно навязшей у меня в зубах.

Я завернула ее в страничку журнала, сунула в пепельницу с пружинной крышкой.

— Сразу отличишь воспитанных людей, — одобрила стюардесса. — Всегда прежде завернут в бумажку.

Мы посидели рядом в полутьме покачивающегося салона. Смутно это напоминало фешенебельный ресторан в сумерки, в затишье. Все притихли — и задумчивость была не только в позах. Даже стюардесса как бы призабыла, почему и зачем она здесь.

Она заговорила о молодой знакомой мне актрисе, с которой летела в Калифорнию два года назад. Тогда был самый разгар кризиса, и актриса все смотрела в окно так упорно и сосредоточенно, будто собиралась выброситься. Оказалось, впрочем, что ее не нищета, а только революция страшила. „Я знаю, что мы с мамой сделаем, — сообщила она стюардессе по секрету. — Мы укроемся в Йеллоустонском заповеднике и будем жить там простенько, пока все не утихнет. А тогда вернемся. Не убивают же они артистов?“

Этот замысел меня позабавил. Вообразилась прелестная картинка: бурые медведи — добряки и консерваторы — снабжают медом актрису с мамой, а ласковые оленята приносят им от ланей молоко и, напоив, пасутся около, чтобы с приходом ночи живыми подушками лечь в изголовье. В свою очередь, я рассказала стюардессе про юриста и про режиссера, которые однажды вечером в ту грозную пору поделились с отцом своими планами. Если армия безработных ветеранов захватит Вашингтон, то у юриста наготове лодка, спрятанная на реке Сакраменто, и он на веслах поплывет в верховья, пробудет там месяц-другой, а потом вернется, „поскольку после революций всегда требуются юристы, чтобы урегулировать правовой аспект“.

Режиссер настроен был более пессимистически. Он заранее припас старый костюм, рубашку, башмаки — свои ли собственные или взятые в костюмерной, он умалчивал — и собирался Раствориться в Толпе. Помню, отец возразил: „Но они взглянут на ваши руки! Они тут же поймут, что вы сто лет не занимались физическим трудом. И спросят у вас профсоюзный билет“. И помню, как вытянулось у режиссера лицо, как хмуро поедал он свой десерт и как смешно и мелко звучали все их речи.

— Отец ваш не актер, мисс Брейди? — спросила стюардесса. — Фамилия что-то знакомая.

Услышав слово „Брейди“, оба моих соседа встрепенулись, взглянули искоса. Я знаю этот голливудский взгляд, бросаемый через плечо. Затем бледный, коренастый отстегнулся и встал в проходе.

— Вы — Сесилия Брейди? — спросил он обвиняюще, как будто я утаивала это от него. — Так я и подумал сразу. Я — Уайли Уайт.

Имя свое он мог бы и не называть — в эту самую минуту чей-то еще голос произнес: „В сторонку, Уайли!“, и кто-то быстро прошел мимо, направляясь в нос самолета. Уайт вздрогнул и — с некоторым опозданием — задорно огрызнулся:

— Приказывает здесь главный пилот. Это походило на обычный обмен шуточками между голливудским тузом и его валетом.

— Пожалуйста, потише, пассажиры спят, — сделала стюардесса замечание Уайту.

Немолодой спутник Уайта тоже вскочил с кресла и глядел с какой-то откровенной алчностью вслед проходящему — вслед его спине. А тот, не оборачиваясь, махнул на прощанье рукой и скрылся куда-то.

Я спросила стюардессу:

— Это прошел младший пилот?

— Нет, — сказала стюардесса, отстегивая ремень — собираясь бросить меня на произвол Уайли Уайта. — Это мистер Смит. У него отдельная кабина, „свадебная“, но только он там

один. Младший пилот ходит в летной форме. — Она встала. — Пойду узнаю — наверно, в Нашвилле застрянем.

- Застрянем? — ужаснулся Уайт.
- В долине Миссисипи буря.
- И, значит, проторчим там всю ночь?
- Если не стихнет.

Стихать не собиралось — самолет внезапно нырнул, Уайта кинуло в кресло напротив, стюардессу метнуло в сторону кабины экипажа, еврея плюхнуло обратно на сиденье. Нарочито сдержанными восклицаниями, какие подобают опытным воздухоплателям, мы выразили свое неудовольствие, перевели дух.

— Мисс Брейди — мистер Шварц, — представил Уайт своего спутника. — Кстати, он с вашим отцом — друзья-приятели.

Мистер Шварц закивал с большим жаром, как бы клятвенно и громко заверяя: „Правда. Видит Бог, правда“.

Пусть когда-то он и мог заявлять так во всеуслышание, но времена переменялись, что-то явно с ним стряслось. Вот так, бывает, встретишь знакомого, угодившего в драку или под колеса тяжелого грузовика — и смятого чуть не в лепешку. Таращишь на него глаза, ахаешь: „Что с вами случилось?“ А он в ответ бормочет что-то невнятное сквозь обломки зубов и распухшие губы. Он даже рассказывать не в состоянии.

Телесных травм мистер Шварц не получил; взбухший персидский нос и затененные подглазья были у него такими же врожденными чертами, как у моего отца ирландски вздернутый кончик носа и краснота вокруг ноздрей.

— Нашвилл! — возмущался Уайли Уайт. — Придется, значит, кинуть в гостинице. А Побережье улыбнулось до завтрашнего вечера — это в лучшем случае. О Господи! Я ведь родился в Нашвилле.

- Что ж, вам будет приятна встреча с родными местами.
- Приятна? Я уже пятнадцать лет сюда не езжу. Хоть бы век их не видеть.

Но Уайту суждено было увидеть их: самолет явно шел вниз, вниз, вниз, как Алиса в кроличью нору. Пригнувшись к окну, заслонясь ладонью от света, я увидела вдалеке слева город, мреющий белесым пятном. А зеленая надпись „Пристегнуть ремни. Не курить“ зажглась уже давно — со времени влета в циклон.

- Слышал фамилию? — взорвалось очередное нервное молчание Шварца.
- Какую фамилию? — спросил Уайт.
- Которой он назвался. „Мистер Смит“.
- А что? — спросил Уайт.

— Ничего, — дернулся Шварц. — Просто мне показалось забавно. Смит. Ха-ха. (Безрадостней смеха я в жизни не слышала.) Смит.

Своим расположением на отшибе, своей хмурой тишиной аэропорты сродни, по-моему, одним лишь почтовым станциям эпохи дилижансов. Краснокирпичные наши вокзалы строились потом прямо в городах и городках, и сходили с поездов там только жители тех захолустий. Аэропорты же — словно древние оазисы, стоянки на великих караванных путях. Вид авиапассажиров, которые по одному и по двое проходят не спеша в полночные аэропорты, всегда привлекает кучку зевак. Вплоть до двух часов ночи местная молодежь готова глазеть на самолеты, а кто постарше — на пассажиров. Зорко и недоверчиво оглядывать нас — богачей с Побережья, небрежно сходящих посреди Америки со своего трансконтинентального коврового самолета. Ведь среди нас могла таиться роскошная романтика в облике кинозвезды. Но большей частью ничего такого не таилось. Как я всегда жалела, что мы не выйдем заманчивей, чем есть; вот так и на премьерных часто жалела — когда кинозвезды смотрят на тебя с презрительным укором за то, что ты не звезда.

Сходя с самолета, я оперлась на руку, протянутую Уайтом, — и вот мы уже с ним друзья. С этой минуты он принялся ухаживать за мной, и я не возражала. Так или иначе, придется

вместе коротать часы нашивильского ожидания — это мне стало ясно сразу. (Я была уже не та простушка, у которой увели парня тогда — в фермерском новоанглийском домике близ Беннингтона. Девушку звали Рейной, он сел с ней к роялю, и я наконец поняла, что я третья лишняя. В исполнении Гая Ломбарде по радио передавали „В цилиндре“ и „Щекой к щеке“, и Рейна помогала одолеть мелодию. Звучали клавиши мягко, как падают листья, и ее пальцы поверх его пальцев — она учила его брата „черный“ аккорд. Я тогда была на первом курсе.)

Мы вошли в здание аэропорта, и мистер Шварц шел с нами, но как во сне. Мы пытались уточнить у дежурного обстановку, а Шварц все это время стоял, упершись взглядом во входную дверь, словно боялся, что самолет улетит без него. Потом я отлучилась на несколько минут, и что-то без меня произошло; когда я вернулась, вид у Шварца был еще раздавленной, чем раньше. На дверь он уже не глядел. Стоя вплотную к нему, Уайт говорил:

— ... ведь предупреждал я — перестань. Поделом же тебе.

— Я только сказал...

Я подошла, Шварц замолчал; я спросила, какие новости. Была половина третьего ночи.

— Новости те, — сказал Уайли Уайт, — что нас промаринуют здесь три часа по меньшей мере, так что слабачье отправляется в гостиницу. А я хочу свозить вас поглядеть „Эрмитаж“ — дом Эндрю Джексона.

— Что же мы увидим в темноте? — сурово спросил Шварц.

— Да час-другой, и рассвет уже.

— Вы поезжайте вдвоем, — сказал Шварц.

— Ладно. А ты двигай в гостиницу. Автобус еще не ушел — и в автобусе сидит Он, — поддразнил Уайли. — Может, и столкнетесь.

— Нет, я с вами поеду, — поспешно сказал Шварц. Мы вышли, разом окунувшись в загородную мглу, сели в такси, и Шварц словно бы повеселел. Похлопал меня поощрительно по коленке.

— Вас оставлять с ним не годится. Я буду вашим провожатым. Было время, был я человеком денежным, и была у меня дочь-красавица.

Он сказал это так, точно дочь забрали кредиторы вместе с другим ценным имуществом.

— Этой нет — другая будет, — утешил Уайли. — Все еще вернется. Новый поворот колеса фортуны, и ты снова там, где папаша Сесилии. Верно, Сесилия?

— А далеко этот „Эрмитаж“? — помолчав, спросил Шварц. — Где-нибудь у чорта на куличках? Как бы нам не опоздать на самолет.

— Да брось, — сказал Уайли. — Зря вот мы стюардессу не взяли тебе для компании. Ты ведь на нее заглядывался. Девчонка и впрямь недурна.

Мы долго ехали по ровной местности, освещенной луной; мелькнет лишь при дороге дерево, хибарка, дерево; затем дорога запетляла лесом. Даже в сумраке чувствовалось, что деревья здесь зеленые — нет у листвы этого пыльно-оливкового калифорнийского оттенка. Путь нам преградили три коровы, негр-пастух отогнал их на обочину, коровы замычали. Настоящие, с теплыми, свежими, шелковистыми боками, и негр плавно обозначился из мглы, тоже настоящий. Уайли дал ему четверть доллара, он сказал: „Спасибо вам, спасибо“, глядя большими карими глазами, и коровы опять замычали в ночь, нам вслед.

Я вспомнила, как впервые в жизни увидела овец, сотни овец, как наша машина внезапно очутилась в их гуще на пустыре за студией старика Лемле. Овцам-то мало радости было сниматься, но наши спутники все повторяли: „Здорово!“ — „Как и требовалось тебе, Дик!“ — „Просто здорово!“ И тот, кого звали Диком, стоя в позе Кортеса или Бальбоа, озирает из машины серое шерстистое овечьё море. Для какого фильма их снимали, я давно забыла (если знала).

Вот уже час мы едем. Проехали через ручей по железному старому дребезжащему мосту с дощатым настилом. Когда мелькает мимо фермерский придорожный домик, там уже поют петухи, колеблются сине-зеленые тени...

— Я говорил вам — рассветет, — сказал Уайли. — Я родился здесь поблизости — сын и наследник оголодалой южной голи. Наш фамильный особняк ныне используют в качестве

нужника. Слуг у нас было четверо — отец, мать и две моих сестры. Вступить в их корпорацию я отказался и уехал в Мемфис делать карьеру, и теперь эта карьера уперлась в тупик. — Он обнял меня за плечи. — Сесилия, позвольте жениться на вас и пристроиться к семейному пирогу Брейди.

Комичный тон обезоруживал, и я прислонилась головой к его плечу.

— Чем занимаетесь, Сесилия? В школу ходите?

— Я учусь в Беннингтонском колледже. На третий перешла.

— О, прошу прощения. Мне бы самому догадаться, но я был лишен преимуществ высшего образования. И на третий перешла! Я читал в „Эсквайре“ — третьекурсниц нечему уже учить.

— Почему-то люди думают, что студентки...

— Сесилия, не надо оправданий. Знание — сила и власть.

— Сразу видно голливудца, — сказала я. — Как всегда, безнадежно отстали от века. Уайли сделал вид, что ошарашен.

— То есть как? Неужели в восточных штатах студентки лишены личной жизни?

— В том-то и дело, что как раз наоборот. Вы становитесь несносны, перемените позу.

— Не могу. Еще Шварца разбужу, а он, по-моему, впервые за полмесяца заснул. Что я вам расскажу, Сесилия: у меня как-то была интрижка с женой одного продюсера. Кратенький романчик. Когда он кончился, она предупредила без обиняков: „Попробуй только проболтайся, и я устрою, что тебя вышвырнут из Голливуда. Мой муж — фигура позначительнее тебя“.

Он снова обезоружил меня своим тоном, и тут мы повернули в длинную улочку, запахло жимолостью и нарциссами, и такси остановилось перед серой громадой „Эрмитажа“. Водитель повернулся к нам, желая что-то объяснить, но Уайли произнес „Ш-ш!“, указав на Шварца, и мы тихонько вышли из машины.

— Сейчас не пустят внутрь, — вежливо пояснил водитель.

Мы с Уайли подошли к портику и сели на ступенях у широких колонн.

— Этот мистер Шварц — кто он такой? — спросила я.

— Да ну его. Возглавлял одно время кинофирму — то ли „Ферст нэшенал“, то ли „Парамаунт“, то ли „Юнайтед артистс“. А теперь в глубоком нокауте. Но он еще вернется. В наше лоно нет возврата только алкашам и наркоманам.

— Вам, я вижу, Голливуд не нравится.

— Напротив. Очень даже нравится. Но что за тема для интимной рассветной беседы на ступенях дома Эндрю Джексона.

— А я Голливуд люблю, — не унималась я.

— Отчего же не любить. Золотой прииск в апельсиновом раю. Чья это фраза? Моя! Неплохое местечко для жестких и тертых, но я-то прибыл в Голливуд из Саванны, штат Джорджия. И в день прибытия явился на званый вечер. Хозяин пожал мне руку и ушел от меня. Все было в том саду честь честью: плавательный бассейн, зеленый мох ценой два доллара за дюйм, красивые люди из семейства кошачьих. Они развлекались и пили... А меня не замечали. Ни одна душа. Я заговаривал с пятью или шестью — не отвечают. Так продолжалось час и два, а потом я вскочил со стула и припустил оттуда сумасшедшей рысью. Вернулся в гостиницу, получил из рук портье адресованное мне письмо — и тогда лишь почувствовал, что я снова человек, а не пустота.

Мне самой испытывать подобное, конечно, не приходилось. Но, вспомнив голливудские званые приемы, я подумала, что Уайли не сочиняет. Чужака у нас встречают прохладно, за исключением тех случаев, когда он преуспел уже и сыт и, следовательно, безопасен, — иначе говоря, когда он знаменитость. Но и знаменитость не слишком-то разлетайся к нам... — Вам бы взглянуть философски, — самодовольно сказала я. — Они ведь не от вас захлопнулись так грубо, а от прежде встреченных нахалов.

— Так юна и хороша — и такие умные речи. На востоке занималась заря, и я видна была Уайту отчетливо — худощавая, изящная, неплохие черты лица и бьющий ножками младенец мозг. Вид у меня на рассвете тогда, пять лет назад, был чуточку взъерошенный, наверно,

бледноватый; но в юности, когда жива иллюзия, будто у приключений плохого конца не бывает, требовалось лишь принять ванну и переодеться, — и снова заряжена надолго.

Во взгляде Уайли было одобрение ценителя, очень для меня лестное. Но тут мистер Шварц вдруг нарушил наше милое уединение, подойдя к дому извиняющейся походкой.

— Ключнул носом — стукнулся о металлическую ручку, — сказал он, потирая уголок глаза. Уайли вскочил.

— Как раз вовремя, мистер Шварц. Сейчас приступаем к осмотру пенатов, где обитал Эндрю Джексон — десятый президент Америки, Старая Орешина, Новоорлеанский победитель, враг Национального банка, изобретатель Системы Дележа Политической Добычи.

— Вот вам сценарист, — обратился Шварц ко мне, как обвинитель к присяжным. — Знает все, и в то же время ничего не знает.

— Это что еще такое? — вознегодовал Уайли.

Так он сценарист, оказывается. И хотя мне сценаристы по душе, — спроси у сценариста, у писателя, о чем хочешь, и обычно получишь ответ, — но все же Уайт упал в моих глазах. Писатель — это меньше, чем человеческая особь. Или, если он талантлив, это куча разрозненных особей, несмотря на все их потуги слиться в одну. Сюда же я отношу актеров: они так трогательно стараются не глядеть в зеркала, прямо отворачиваются от зеркал — и ловят свое отражение в никеле шандалов.

— Таковы они все, сценаристы, — верно, Сесилия? — продолжал Шварц. — Я не говорю, я практик. Но молча я знаю им цену.

Уайли смотрел на него с медленно растущим возмущением.

— Эта песня мне знакома, — сказал он. — Ты учти, Мэнни, — при любой погоде я практичнее тебя. У нас этакий мистик будет полдня расхаживать по кабинету и пороть чушь, которая везде, кроме нашей Калифорнии, обеспечила бы ему сумасшедший дом. И закруглится на том, что он глубочайше практичен, а я фантазер. И посоветует пойти осмыслить его слова на досуге.

Лицо Шварца опять потухло и опало. Один глаз уставился в небо, за высокие вязы. Шварц поднес руку ко рту, безучастно куснул заусеницу на среднем пальце. Понаблюдая за птицей, кружившей над крышей здания. Птица села на трубу, зловещая, как ворон, и Шварц сказал, не сводя с нее взгляда:

— В дом сейчас не пустят, и пора вам уже обратно в аэропорт.

Рассвело еще не до конца. Огромная коробка „Эрмитажа“ белела красиво, но слегка грустно, осиротело — даже теперь, через сто лет. Мы пошли к машине, сели; мистер Шварц неожиданно захлопнул за нами дверцу, и только тут мы поняли, что он не едет.

— Я раздумал лететь — проснулся и решил не лететь. Останусь здесь, шофер потом за мной приедет.

— Вернешься на Восток? — недоуменно спросил Уайли. — И все лишь потому, что...

— Это решено, — сказал Шварц, слабо усмехнувшись. — Я ведь был человек весьма решительный — на удивление прямо. — Таксист включил мотор, Шварц сунул руку в карман. — Эту записку отдадите мистру Смигу.

— Мне вернуться часа через два? — спросил водитель.

— Да... конечно. Я похожу тут, полюбуюсь. Всю обратную дорогу в аэропорт я думала о Шварце: он как-то плохо сочетался с сельским утренним ландшафтом. Долгим был у Шварца путь из городского гетто к грубому камню этой усыпальницы. Мэнни Шварц и Эндрю Джексон — несуразно звучат рядом эти имена. Сомневаюсь, знал ли Шварц, бродя у колонн, кто такой был Эндрю Джексон. Но, возможно, ему думалось, что раз уж дом сохранен как реликвия, то, значит, Эндрю Джексон был человек большого сердца, сострадательный и понимающий. В начале и в конце жизни люди тянутся прильнуть — к материнской груди — к милосердной обители. Где можно приникнуть, прилечь, когда ты никому уже не нужен, и пустить себе пулю в висок.

Понятно, что про пулю мы узнали только через сутки. Вернувшись в аэропорт, мы сообщили дежурному, что Шварц не летит дальше, и на этом поставили точку. Циклон ушел на восток Теннесси и погас там в горах, до взлета осталось меньше часа. Из гостиницы явились заспанные пассажиры; я продремала несколько минут на одной из аэропортовских прокрустовых кушеток. Померкший было от нашей трусливой посадки, возжегся понемногу снова ореол рискованного рейса, — мимо нас бодро прошла с чемоданчиком новая стюардесса, высокая, статная, яркая брюнетка, копия своей предшественницы, только вместо французского красно-синего платья на ней было льняное, легкое, в голубую полоску. Мы с Уайли сидели, ожидая.

— Отдали мистеру Смиту записку? — спросила я полусонно.

— Да.

— Кто он такой? Это, видимо, он поломал Шварцу планы.

— Шварц сам виноват.

— Не люблю всесокрушающих бульдозеров. Когда отец и дома начинает переть бульдозером, я его осаживаю: „Ты не у себя на студии“. (И тут же я подумала, не цепляю ли на отца ярлык. Ранними утрами слова — бесцветнейшие ярлыки.) При всем при том он вбульдозерил меня в Беннингтон, и я ему за это благодарна.

— То-то будет скрежет, когда бульдозер Брейди и бульдозер Смит сшибутся, — сказал Уайли.

— Мистер Смит с отцом — конкуренты?

— Не совсем. Пожалуй, нет. Но будь они конкурентами, я бы знал, на кого ставить.

— На отца?

— Боюсь, что нет.

В такую рань как-то не тянет проявлять семейный патриотизм... У регистрационного столика стоял пилот и качал головой. Они с администратором разглядывали будущего пассажира, который сунул два пятицентовика в музыкальный автомат и пьяно опустил на скамью, хлопая слипающимися глазами. Прогрохотала первая выбранная им песня, „Без возврата“, а затем, после короткой паузы, столь же бесповоротно и категорически прозвучала вторая, „Погибшие“. Пилот решительно мотнул головой и подошел к пассажиру.

— К сожалению, не сможем взять вас на борт, старина.

— Ч-чего?

Пьяный сел прямей; вид у него был жуткий, но черты проглядывали симпатичные, и мне стало жаль его, несмотря на предельно неудачный выбор музыки.

— Возвращайтесь в гостиницу, проспите, а вечером будет другой самолет.

— Другой н-не надо, этот надо.

— На этот нельзя, старина.

От огорчения пьяный свалился со скамьи, а нас — добропорядочных, пригласил на посадку репродуктор, укрепленный над проигрывателем. В проходе самолета я налетела на Монро Стара — чуть не влетела ему в объятия, и я бы не прочь. Любая бы девушка не прочь — все равно, с поощрением Стара или без. В моем случае поощрением и не пахло, но встреча была Стару приятна, и он посидел в кресле напротив, дожидаясь взлета.

— Давайте все вместе потребуем обратно деньги за билеты, — сказал он, пронизывая меня своими темными глазами. „А какими эти глаза будут у Стара влюбленного?“ — подумалось мне. Они смотрели ласково, но как бы с расстояния и чуть надменно, хотя часто взгляд их бывал мягко убеждающим. Их ли вина была, что они видят так много?.. Стар умел мгновенно войти в роль „своего парня“ и столь же быстро выйти из нее, и, по-моему, в конечном счете определение „свой парень“ к нему не подходило. Но он умел помолчать, уйти в тень, послушать. С высоты (хоть роста он был небольшого, но всегда казалось — с высоты) он окидывал взглядом всё деловитое многообразие своего мира, как гордый молодой вожак, для которого нет разницы между днем и ночью. Он родился бессонным и отдыхать был неспособен, да и не желал.

Мы сидели непринужденно, молча, ведь наше с ним знакомство длилось уже тринадцать лет, с той поры, как он стал компаньоном отца, — тогда мне было семь, а Стару двадцать два. Уайли сел уже в свое кресло, и я не знала, нужно ли их знакомить, а Стар вертел перстень на пальце так самоуглубленно, что я чувствовала себя девочкой и невидимкой и не сердилась. Я и раньше никогда не отваживалась ни отвести от Стара взгляд, ни смотреть на него в упор (разве что хотела важное сказать) — и я знаю, он на многих так действовал.

— Этот перстень — ваш, Сесилия.

— Прошу прощения. Я просто так засмотрелась...

— У меня полдюжины таких.

Он протянул мне перстень — вместо камня самородок с выпукло-рельефной буквой „S“. Я потому и засмотрелась, что массивность перстня была в странном контрасте с пальцами — изящными и тонкими, как все худое тело и как тонкое его лицо с изогнутыми бровями и темными кудрявыми волосами. Порой Стар казался бестелесным, но он был настоящий боец; человек, знавший его в Бронксе лет двадцать назад, рассказывал, как этот хрупкий паренек идет, бывало, во главе своей мальчишней ватаги, кидая изредка приказ через плечо.

Стар вложил подарок мне в ладонь, свел мои пальцы в кулак и встал с кресла.

— Пойдем ко мне, — обратился он к Уайту. — До свиданья, Сесилия.

Напоследок я услышала, как Уайли спросил:

— Прочел записку Шварца?

— Нет еще.

Я, должно быть, тугодумка: только тут я сообразила, что Стар — тот самый мистер Смит.

Потом Уайли сказал мне, что было в записке. Нацарапанная при свете фар, она читалась с трудом.

„Дорогой Монро, лучше Вас в Голливуде нет никого, я всегда восхищался Вашим умом, и если уж Вы отворачиваетесь, значит, нечего и рыпаться. Видно, я совсем стал никуда, и я не лечу дальше. Еще раз прошу, берегитесь! Я знаю, что говорю.

Ваш друг

Мэнни“.

Стар прочел ее дважды, взялся пальцами за свой шершавый с утра подбородок.

— У Шварца нервы сдали безнадежно, — сказал он. — Тут ничего нельзя сделать — абсолютно ничего. Жаль, что я вчера резко с ним обошелся, но не люблю, когда проситель уверяет, что это ради моего же блага.

— Возможно, так оно и есть, — возразил Уайли.

— Прием это негодный.

— А я бы на него попался, — сказал Уайли. — Я тщеславен, как женщина. Притворись лишь кто-нибудь, что мое благо ему дорого, — и я тут же уши развешу. Люблю, когда дают советы.

Стар покачал головой, морщась. Уайли продолжал его поддразнивать — он был из тех немногих, кому это позволялось.

— Но и Стар клюет на определенный сорт лести, — сказал Уайли. — На „Наполеончика“.

— Меня от лести мутит, — сказал Стар. — Но еще сильнее мутит, когда пекутся „о моем же благо“.

— Но если не любишь советов, зачем тогда платишь мне?

— Тут вопрос купли-продажи, — сказал Стар. — Я делец. Покупаю продукцию твоего мозга.

— Ты не делец, — сказал Уайли. — Я их знавал, когда работал в рекламном отделе, и я согласен с Чарльзом Фрэнсисом Адамсом.

— В чем именно?

— Он знал их досконально — Гулда, Вандербилта, Карнеги, Астора — и говорил, что ни с единым дельцом его не тянет встретиться в грядущей жизни. А со времен Адамса они не стали лучше, и потому я утверждаю — ты не делец.

— Брюзга был Адамс, надо думать, — сказал Стар. — Не прочь бы и сам стать воротилой, но не было у него деловой сметки или же силы характера.

— Зато был интеллект, — резковато сказал Уайли.

— Интеллект здесь — еще не все. Вы — сценаристы и актеры — выдыхаетесь, сумбурите, и приходится кому-то вмешаться и выправить вас. — Он пожал плечами. — Вас слишком задевает все, вы кидаетесь в ненависть и обожание: люди в ваших глазах всегда так значимы, особенно вы сами. Вы прямо напрашиваетесь на то, чтобы вами помыкали. Я люблю людей и хочу, чтобы меня любили, но я не раскрываюсь, не выворачиваю душу наизнанку... Что я сказал Шварцу там в аэропорту? — спросил он, меняя тему. — Не помнишь в точности?

— Вот точные слова: „Чего бы вы от меня ни добивались, ответ будет один — нет“. Стар молчал.

— Он совсем было сник после этого, — продолжал Уайли, — но я его вышутил, пошпынял, расшевелил немного. Мы прокатились в такси с дочкой Пата Брейди.

Стар вызвал звонком стюардессу.

— Пилот не будет против, — спросил он, — если я посижу с ним у штурвала?

— Правила не разрешают, мистер Смит.

— Попросите его, пусть на минуту зайдет сюда, когда освободится.

Стар просидел рядом с пилотом всю вторую половину дня. Одолев нескончаемую пустыню, самолет плавно шел над плоскогорьями, окрашенными многоцветно — так мы, бывало, в детстве расцвечивали белый песок. Ближе к вечеру под нашими пропеллерами скользнули знакомые пики гор Фрозен-Со — мы приближались к дому.

Я дремала, а в промежутках думала о том, что хочу за Стара замуж, хочу влюбить его в себя. Ох, воображала желторотая! Ну что б я могла ему дать? Но об этом я тогда не думала. Мной владело молодое женское тщеславие, черпающее силу из возвышенных соображений типа „Я не хуже, чем она“. Для семейного употребления красота моя была ничем не хуже красоты кинобогинь, которые, понятно, так и вешались ему на шею. А живая во мне струйка интеллектуальных интересов, уж конечно, делала меня дорогим украшением светских и артистических салонов.

Теперь-то мне понятно, что это был бред. Хотя взамен колледжа у Стара за плечами были всего-навсего вечерние курсы стенографов, он давно уже пробился сквозь умственное бездорожье и чащобу на просторы, куда мало кто мог прорваться за ним. Но я тщеславно и дерзко считала, что мои серые глаза полукавей его темно-карих, что сердце Стара, тормозимое уже годами перегрузок, не устоит перед моим, упругим от гольфа и тенниса. И я строила планы, вынашивала замыслы, интриговала — об этом любая женщина может порассказать, — но не добила ровно ничего. Мне и теперь хочется верить, что, будь он небогат и ближе ко мне возрастом, я бы достигла цели, — но правда вся, конечно, в том, что мне нечего было предложить ему нового духовно. То, что во мне от романтики, в основном навеяно фильмами — „42-я улица“, к примеру, сильно повлияла на меня. Очень, очень вероятно, что сформировалась я именно на фильмах, из числа созданных Старом.

Так что дело было безнадежное. Ведь пережеванное невкусно — в области чувств это особенно верно.

Но тогда мне думалось иначе: может помочь отец, может помочь стюардесса. Вот войдет она в кабину экипажа, скажет Стару: „Какую любовь прочла я в глазах этой девушки“.

Может пилот помочь: „Пора прозреть, приятель! Жми немедленно к ней!“

Может помочь Уайли Уайт — вместо того чтобы стоять в проходе и глядеть нерешительно, не зная, сплю я или нет.

— Садитесь, — сказала я. — Что нового? Где мы?

— Мы в воздухе.

— Неужели. Садитесь же. — Я изобразила живой и бодрый интерес: — Что вы пишете сейчас?

— Сценарий о бойскауте, о Великом Бойскауте. Бедная моя голова!

— Идея принадлежит Стару?

— Не знаю, но он мне предложил ее разработать. У него, возможно, еще десять сценаристов до или после меня усажены за ту же разработку — по системе, которую он столь мудро изобрел. Значит, влюбилась в него, Сесилия?

— Вот еще, — сердито фыркнула я. — В человека, которого знаю сто лет.

— Значит, по уши и безнадежно? Что ж, берусь устроить ваше счастье, если вы употребите все влияние, чтобы продвинуть меня. Мне нужна собственная творческая группа.

Я закрыла глаза и уплыла в сон. Проснулась — стюардесса укрывает меня пледом.

— Скоро будем на месте, — сказала она. В иллюминатор видно в свете заката, что под нами пошла местность уже зеленой.

— Я слышала сейчас потешный разговор, — сообщила стюардесса. — В кабине у пилотов. Мистер Смит — или мистер Стар — ни разу не встречала в фильмах эту фамилию...

— Он никогда не ставит ее в титрах, — пояснила я.

— А-а. Ну, так он там все расспрашивал пилотов о летном деле. Он что, вправду этим интересуется?

— Да.

— То-то первый пилот готов был со мной спорить, что за десять минут выучит Стара вести самолет. Светлая голова, говорит.

— И что же тут потешного? — спросила я с некоторым раздражением.

— Ну, потом Стара спрашивают: „Мистер Смит, а ваше дело вам нравится?“ А тот в ответ: „Еще бы. Безусловно нравится. Приятно чувствовать, что пусть у всего экипажа мозги набекрень, но у тебя строго по гироскопу“.

Стюардесса расхохоталась. (Тьфу, глупая.)

— Это он про голливудских — экипаж с мозгами набекрень. — Она неожиданно оборвала смех и, сдвинув брови, встала. — Пойду, надо графы заполнить.

— Всего хорошего.

Итак, Стар, вознеся пилотов к себе на престол, делился секретами управления. Спустя год или два я летела с одним из тех пилотов, и он припомнил, что говорил тогда Стар, глядя на горы.

— Допустим, вы путеец, железнодорожник, — говорил он. — Вам надо пробить трассу где-то здесь через горы. Топографы дают вам карты, и вы видите, что возможны четыре, пять, шесть вариантов, каждый не хуже другого. А вам надо решать — на основании чего же? Проверить выбор можно, только проложив трассу. И вы решительно ее прокладываете.

— То есть? — не понял пилот.

— То есть делаете выбор по чутью — потому лишь, что эта вот гора приглянулась своим розоватым оттенком или та вот схема дана отчетливей на синьке. Понимаете?

Пилот счел совет весьма ценным. Но усомнился, представится ли случай применить его.

— Я другое хотел узнать, — сказал мне пилот со вздохом. — Узнать, как это он сделался мистером Старом.

Вряд ли Стар ответил бы — зародыш памятью не обладает. Но я бы кое-что смогла объяснить. В юности он взлетел на крепких крыльях ввысь — и все царства мира обозрел глазами, способными не мигая глядеть на солнце. Неустанным, упорным, а под конец — яростным, усилием крыльев он продержался там долго — немногим удастся это, — и затем, запечатлев сущность вещей, как видится она с громадной высоты, спустился постепенно на землю.

Моторы стихли, и всеми своими пятью чувствами мы приготовились к посадке. Впереди и слева пунктирами огней обозначилась военно-морская база Лонг-Бича, справа замерцала, размыто засветлела Санта-Моника. Огромная и оранжевая, вставала калифорнийская луна над Тихим океаном. Что бы ни ощущала я в ту минуту — а, как-никак, это была встреча с родиной, — но убеждена и знаю, что ощущения Стара были намного сильнее. Огни, луна и океан явились мне без поисков, сами собой, как овцы на студии старого Лемле; Стар же именно

сюда пожелал спуститься после того необычайного и озаряющего взлета, когда он сверху увидел, куда и как мы движемся и что в движении нашем красочно и важно. Могут возразить, что Стара занесло сюда случайным ветром, но я не верю. Мне хочется думать, что в этом взлете, в этом „дальнем общем плане“ ему открылось новое мерило наших суматошных надежд и порывов, ловких плутней, нескладных печалей, и что приземлился он здесь, чтобы уж до конца быть с нами, — по собственному выбору. Как этот самолет, идущий вниз на Глен-дейльский аэропорт, в теплую тьму.

Глава II

Был июльский вечер, десятый час, и когда я подъехала к студии, то в закуской напротив увидела нескольких статистов, засидевшихся у китайских бильярдных. На углу стоял „бывший“ Джонни Суонсон в своем полуковбойском наряде, угрюмо и невидяще глядя на луну. В немых ковбойских фильмах он когда-то славился наравне с Томом Миксом и Биллом Хартом, теперь же было грустно и заговорить с ним, и, поставив машину, я поскорей юркнула через улицу в главный вход.

Полностью студия не затихает и ночью. В лабораториях и в аппаратных звукового цеха работа идет сменами, и в любые часы суток техперсонал навевается в студийное кафе. Но вечерние звуки с дневными не спутать — мягкий шорох шин, тихий гуд разгруженных моторов, нагой крик сопрано в микрофон звукозаписи. А за углом рабочий в резиновых сапогах мыл камерваген из шланга, и в чудесном белом свете вода опала фонтаном среди мертвенных индустриальных теней. У административного здания в машину бережно усаживали мистера Маркуса, и я остановилась не доходя (устанешь ждать, пока он вымялит тебе два слова — пусть даже просто „спокойной ночи“), прислушалась к сопрано, снова и снова повторявшему „Приди, люблю тебя лишь“; мне запомнилось, потому что певица повторяла все ту же строку и в момент землетрясения, которое грянуло минут через пять.

Кабинет отца находился в этом старом здании, где по фасаду тянутся балконы-лоджии, и непрерывные чугунные перила напоминают тугий трос канатоходца. Отец помещался на втором этаже, рядом с ним — Стар, а по другую руку — мистер Маркус. Сегодня весь этот ярус окон светился. Сердце екнуло при мысли, что Стар так близко, но я уже научилась держать в узде свое сердечко — за весь месяц, проведенный дома, я видела Стара лишь однажды.

Об отцовских апартаментах можно бы немало странного порассказать, но я коснусь кратко. Три бесстрастнолицые секретарши (я их с детства помню) сидели, как три ведьмы, в приемной — Берди Питере, Мод (забыла, как дальше) и Розмэри Шмил; уж не знаю, благодаря ли имени или чему другому, но Розмэри была, так сказать, старшей ведьмой, у нее под столом находилась кнопка, отпирающая посетителю врата отцовского тронного зала. Все три секретарши были ярые поборницы капитализма, и Берди завела такой обычай: если замечено, что машинистки раза два на неделе обедали вместе, всей стайкой, то тут же вызывать их для строгого внушения. В то время на студиях боялись „народных волнений“.

Я прошла в кабинет. Теперь-то у всех киноворотил громадные кабинеты, но ввел это отец. И он же первый снабдил непрозрачными снаружи стеклами большие, достигающие до пола, окна; слышала я также про потайной люк в полу, про каменный мешок внизу, куда будто бы проваливаются неприятные посетители, — но это, по-моему, выдумки. На видном месте у отца висел масляный портрет Уилла Роджерса — для того, наверно, чтобы внушать мысль о близком духовном родстве отца с этим „голливудским св. Франциском“. Висели также надписанная фотография Минны Дэвис, умершей три года назад жены Стара, снимки других знаменитостей нашей студии, пастельные портреты мой и мамин. В этот вечер окна были раскрыты, в одном окне беспомощно застряла крупная, розово-золотая, окруженная дымкой луна. В глубине комнаты, за большим круглым столом, сидели отец, Жак Ла Борвиц и Розмэри Шмил.

Как выглядел отец? Я не смогла бы сказать, если бы не тот раз в Нью-Йорке, когда я неожиданно увидела перед собой немолодого грузного мужчину, как бы слегка стыдящегося собственной персоны, и подумала: „Да проходи ты, не задерживайся“, — в вдруг узнала отца. Меня огорошило это мое впечатление: ведь отец умел быть обаятельно-внушительным, у него была ирландская улыбка и волевой подбородок.

Что же до Жака Ла Борвица, то его я не стану описывать — избавлю вас. Скажу лишь, что он был помощник продюсера — нечто вроде надсмотрщика над съемочными группами. Где это Стар откапывал такие умственные трупы (или ему их навязывали?) и, главное, как он ухитрялся получать от них пользу, — всегда меня озадачивало и поражало, да и каждого новоприбывшего с Востока поражало, кто на них наталкивался. У Жака Ла Борвица, несомненно, были свои достоинства, но есть они и у мельчайших одноклеточных, и у любого пса, рыщущего в поисках суки и мосла. Жак Ла... — о мой Бог!

По выражению лиц я тут же поняла, что темой их совещания был Стар. Что-то Стар велел или запретил, пошел наперекор отцу, забраковал какую-то из картин Ла Борвица или еще что-либо учинил в том же разгромном духе, — и вот они собрались здесь вечерним синклитом, уныло возмущенным и беспомощным. И у Розмэри наготове блокнот, чтобы протоколировать их бессилие.

— Я приехала схватить и доставить тебя домой живого или мертвого, — сказала я отцу. — Твой день рождения, а все подарки так и лежат неразвернутые!

— Ваш день рождения! — встрепенулся виновато Жак. — Сколько же вам исполнилось? Я и не знал.

— Сорок три, — четко произнес отец, убавив себе четыре года, и Жак знал это; я видела, как он пометил „43?“ в своем гроссбухе, чтобы использовать в надлежащее время. Здесь у нас эти гроссбухи носят открыто и раскрыто, и не нужно прибегать к чтению с губ — видно и так, что в них записывают. Розмэри тоже пришлось сделать пометку у себя в блокноте, чтобы не ударить лицом в грязь. И только она эту пометку стерла, как земля под нами содрогнулась.

Толчок был слабее, чем в Лонг-Биче, где верхние этажи магазинов вытряхнуло на улицу, а отели, из тех, что поменьше, съехали с берега в море, — но целую минуту нутро наше трепыхалось в унисон с нутром земным — точно совершалась бредовая попытка, срastив пуповину, втянуть нас обратно в утробу мироздания.

Мамин портрет упал, оголив небольшой стеной сейф; мы с Розмэри, отчаянно ухватясь друг за друга, завальсировали по комнате под собственный визг. Жак упал в обморок — по крайней мере, сгинул куда-то с глаз, а отец уцепился за стол с криком: „Ты цела?“ За окном певица добралась до заключительных верхов и, протянув „тебя-а лишь“, запела опять с начала, — честное слово. Но, может быть, это ей проигрывали запись.

Комната остановилась, слегка лишь подрагивая танцевально. Мы, в том числе и неожиданно возникший снова Жак, вышли, пьяно пошатываясь, через приемную на чугунный балкон. Почти все огни погасли, тут и там слышались голоса, крики. Мы постояли, ожидая нового толчка, затем, точно по команде, двинулись в приемную Стара и дальше, в его кабинет.

Кабинет этот был тоже велик, но поменьше отцовского. Стар сидел с краю кушетки, протирая глаза. В момент толчка он спал — и теперь недоумевал, не приснилось ли все ему. Мы заверили его, что не приснилось, и происшествие показалось ему скорей забавным, — но тут зазвонили телефоны. Я наблюдала за ним как можно незаметнее. Вначале он был серый от усталости, но, по мере того как поступали донесения, в глаза его стал возвращаться блеск.

— Лопнуло несколько магистральных труб, — сказал он отцу, — вода заливает съемочную территорию.

— Там Грей ведет съемку во „Французском селении“, — сказал отец.

— Вокруг „Вокзала“ тоже затопило и залило „Джунгли“ и „Нью-Йоркский перекресток“. Но хорошо хоть, черт возьми, что обошлось без жертв. — Стар взял меня за обе руки, сказал очень серьезно: — Где вы пропадали, Сеси?

— Ты сейчас туда, Монро? — спросил отец.

— Вот только дождусь известий со всех участков. Одна электролиния тоже вышла из строя. Я послал за Робинсоном.

Стар усадил меня рядом с собой на кушетку, снова выслушал рассказ о землетрясении.

— У вас усталый вид, — сказала я так мило, по-матерински.

— Да, — согласился он. — Некуда приткнуться вечерами, вот я и остаюсь работать.

— Я подумаю, чем расцветить вам вечерок-другой.

— Бывало, я с друзьями играл в покер, пока не женился, — сказал он задумчиво. — Но мои партнеры все спились, поумирили.

Вошла мисс Дулан, его секретарша, со свежей порцией бедственных вестей.

— Робби придет и все наладит, — успокоил Стар отца. — Робинсон — вот это парень, — повернулся Стар ко мне. — Он работал раньше аварийным монтером в Миннесоте, устранял обрывы телефонных линий в снежные бураны — он ни перед чем не спасует. Он через минуту явится. Робби вам придется по душе.

Он сказал это так, словно всю жизнь мечтал свести нас вместе и с этой целью даже землетрясение устроил.

— Да, Робби вам придется по душе, — повторил он. — Вы когда возвращаетесь в колледж?

— Каникулы недавно начались.

— И вы к нам на все лето?

— Что ж, это поправимо, — сказала я. — Постараюсь поскорей уехать.

Я была как в тумане. В голове мелькнуло, что Стар недаром спрашивает, что у него насчет меня намерения, но если так, то роман наш еще на невыносимо ранней стадии — я для Стара пока всего лишь „ценный реквизит“. И не таким уж все это показалось сейчас заманчивым — точно перспектива выйти замуж за вечно занятого врача. Стар редко покидал студию раньше одиннадцати вечера.

— Сколько Сесилии осталось учиться? — спросил Стар отца. — Вот я о чем, собственно.

Тут я, наверно, с жаром бы воскликнула, что мне необязательно и возвращаться в колледж, что образования у меня уже в избытке, — но вошел достойный всяческого восхищения Робинсон. Он оказался рыжим, молодым, кривоногим и рвущимся в бой.

— Знакомьтесь, Сесилия, — Робби, — сказал Стар. — А теперь идем, Робби.

Так познакомилась я с Робби — и не ощутила в этом ничего знаменательного. А зря: ведь именно Робби рассказал мне потом, как Стар обрел в ту ночь свою любовь.

В лунном свете тридцать акров съемочного городка простирались волшебной страной — не потому, что съемочные площадки так уж впрямь казались африканскими джунглями, французскими замками, шхунами на якоре, ночным Бродвеем, а потому, что они были словно картинки из растрепанных книг детства, обрывки сказок, пляшущие в пламени лунного костра. Я никогда не жила в доме с традиционным чердаком, но, по-моему, съемочная территория напоминает именно захламленный чердак, и ночами хлам колдовски преобразуется и оживает.

Когда Стар с Робби пришли туда, пучки прожекторных лучей уже осветили аварийные места среди разлива.

— Мы эти озера перекачаем в топь на „Тридцать шестой улице“, — сказал Робби, подумав с минуту. — Настоящее стихийное бедствие, осуществленное силами городского водопровода. А гляньте вон туда!

Вниз по течению импровизированной реки двигалась огромная голова бога Шивы — и несла у себя на темени двух женщин. Статую смыло с „Бирманской“ площадки, она вместе с прочими обломками плыла, прилежно следуя изгибам русла, покачиваясь, тычась — преодолевая мели. Спасавшиеся на ней женщины сидели, упершись ногами в завиток волос на голом лбу, и, казалось, любовались картиной наводнения, как с крыши экскурсионного автобуса.

— Погляди, Монро, на этих дамочек, — сказал Робби. — Занятное зрелище.

Увязая в новоявленных болотцах, Робинсон и Стар подошли к берегу потока. Отсюда женщины были хорошо видны; слегка испуганные, они повеселели при виде идущих на выручку людей.

— Пусть бы так и уплыли в сточную трубу, — сказал Робби, как истый рыцарь, — да только голова эта на будущей неделе понадобится Де Миллю.

Но Робби не был способен обидеть и муху — он тут же вошел в воду чуть не по пояс, цепляя голову багром, но голова увертывалась и вертелась. Подоспела подмога; вокруг заговорили, что одна из женщин очень красива, затем распространилось, что обе они — важные особы. Но они были простые проникшие на студию смертные, и Робби брезгливо ждал, пока они причалят, чтобы задать им перцу. Наконец статую обуздали, притянули к берегу.

— Верните голову на место, — крикнул Робби женщинам. — Это вам что, сувенир?

Одна из женщин плавно съехала вниз по щеке идола, и Робби поймал ее, поставил на сушу; вторая, поколебавшись, соскользнула тоже. Робби повернулся к Стару.

— Что велишь с ними сделать, шеф? Стар не отвечал. С расстоянья двух шагов на него, слабо улыбаясь, смотрело лицо умершей жены — и хоть бы в выражении была разница! Сквозь лунный промежуток в два шага глаза глядели знакомо, от ветра шевелился локон на родном лбу; она все улыбается — теперь слегка иначе, но тоже знакомо; губы приоткрылись, как у Минны. Страх, трепет пронизал Стара, он чуть не вскрикнул. Затхлый и тихий похоронный зал, лимузин-катафалк, приглушенно скользящий, роняющий цветы с гроба, — и оттуда, из мрака, снова явилась, теплая, светлая! Мимо неслась вода, мощные кинопрожекторы полосовали мглу, и вот зазвучал голос — иной, не голос Минны.

— Мы просим извинить нас, — сказал голос. — Мы прошли в ворота зайцами, следом за грузовиком...

Вокруг начинали уже толпиться — осветители, подсобные рабочие, и Робби тут же принялся за них, как овчарка за овец.

— Тащите большие насосы с водоемов, с четвертой площадки... застропите голову канатом... сплавьте ее обратно на досках... сперва, ради господ бога, выкачайте воду из джунглей... трубу кладите здесь, изогнутую эту... да полегче, тут все из пластмассы...

Стар глядел, как обе женщины пробирались к выходу за полисменом. Затем сделал шаг, проверяя, ушла ли из колен слабость. Прочавкал с рокотом тягач по грязи, и мимо Стара потекли вереницей люди; каждый второй взглядывал на него, улыбался, говорил: „Привет, Монро... Здравствуйте, мистер Стар... мокрая выдалась ночка, мистер Стар... Монро... Монро... Стар... Стар... Стар“.

Он откликнулся, взмахивал рукой в ответ им, проходящим в сумраке, и это, я думаю, слегка напоминало встречу Императора со Старой Гвардией. У всякого мирка непременно свои герои, и Стар был герой киномира. Эти люди в большинстве своем работали здесь от начала, испытали великую встряску — приход эры звука — и три года кризиса, и Стар оберегал их от беды. Узы верности рвались теперь повсюду, у колоссов обнаруживались и крошились глиняные ноги; но Стар по-прежнему был их вожак, последний в своем роде. И они шли мимо, приветствуя его — как бы воздавая негромкую почесть.

Глава III

За время между вечером прилета и землетрясением я на многое взглянула по-другому.

Взять, к примеру, отца. Я отца любила (это можно бы изобразить капризной кривой со многими резкими спадами), но я начала уже понимать, что сила воли — еще не замена всех качеств, делающих человека человеком. Таланты отца сводились в основном к практической сметке. Благодаря ей и своему везению он заполучил четвертую часть доходов в процветающем

и шумном бизнесе — и стал компаньоном молодого Стара. В этом заключился подвиг его жизни, а дальше уж простой инстинкт не давал сорваться. Конечно, в деловых беседах на Уолл-стрит отец умел напускать туману насчет загадок фильмопроизводства, но сам не смыслил ни аза в монтаже, а тем более в перезаписи. Да и проникнуться с юности духом Америки трудно, служа подавальщиком в баре ирландского городка Баллихигана, а чувство сюжета было у отца не тоньше, чем у коммивояжера-анекдотчика. С другой стороны, он не был тайным полупаралитиком, как отец, являлся в студию не с обеда, а с утра, притом подозрительность он нарастил в себе, как мышцу, и перехитрить его было нелегко.

Ему повезло на Стара — крупно повезло. В киноделе Стар был путеводным маяком, подобно Эдисону и Люмьеру, Гриффиту и Чаплину. Он поднял фильмы высоко над уровнем и возможностями театра, вознес как бы на высоты золотого века (все это до введения цензуры).

О роли Стара свидетельствовало то, какой вокруг него шел шпионаж — не простая охота за внутренней информацией, за секретами технологии, а шпионаж, объектом которого было чутье Стара на перемены в зрительских вкусах, его предвидение будущего. Слишком много жизненной энергии доводилось Стару тратить на борьбу с этим шпионажем. Приходилось то и дело лавировать, замедлять темп, секретничать, — и поэтому работу Стара так же трудно описывать, как трудно вникнуть в планы полководца, психологическая сторона которых от тебя почти вся скрыта, и кончаешь простым суммировавшем успехов и неудач. Но я решила дать хоть беглый очерк его рабочего дня, и цель идущих ниже страниц именно в этом. Частью я взяла их из написанного в колледже сочинения „День продюсера“. Большинство событий будничных я смонтировала с помощью воображения, но всё из разряда необычного — так и было.

Наутро после потопа, на рассвете, в административное здание вошел человек. Появившись на балконе, он, по словам очевидца, постоял там, затем влез на чугунные перила и бросился головой вниз на мостовую. В итоге — сломанная рука.

Мисс Дулан, секретарша Стара, сообщила ему о случившемся, когда в девять он нажал кнопку звонка. Он спал в кабинете и проспал весь этот небольшой переполох.

— Пит Заврас? — воскликнул Стар. — Оператор?

— Его доставили к дежурному врачу. В газету это не попадет.

— Ах ты несчастье, — сказал Стар. — Я знал, что Заврас вышел в тираж, — но отчего он сник, неясно. Два года назад он снимал у нас и выглядел молодцом. Зачем же он пришел сюда кончать с собой? Как он пробрался на студию?

— Обморочил охрану с помощью старого пропуска, — пояснила Кэтрин Дулан в своей ястребино-сухой манере. Муж ее был ассистентом режиссера. — Возможно, на него как-то повлияло землетрясение.

— Он был лучший оператор Голливуда, — сказал Стар. И, даже услышав затем про сотни жертв в Лонг-Биче, Стар все не мог выбросить Завраса из мыслей — и велел секретарше выяснить причину попытки самоубийства.

Первые новости дня поступали по диктографу, влияли в теплынь утра. Стар брился, пил кофе, слушая и делая распоряжения. Робби оставил записку: „Если потребуешь Стару, передайте — к черту, я спать пошел“. Ведущий актер заболел — или захандрил; губернатор Калифорнии прибывает на студию с целой свитой гостей; помощник продюсера избил жену за испорченную фильмокопию и должен быть „разжалован в сценаристы“ (разбирательство и прием губернатора входят в компетенцию отца, и актер тоже — если только не законтрактан лично Старом). В Канаде ранний снег покрыл место натуральных съемок, а рабочая группа уже прибыла туда; Стар быстро просмотрел фабулу картины, прикинул, нельзя ли примениться к снегу. Нет, нельзя. Стар звонком призвал секретаршу в кабинет.

— Свяжите меня с полисменом, который удалил вчера вечером двух женщин со съемочной территории. Его зовут, кажется, Малой.

— Хорошо, мистер Стар. У телефона Джо Уаймен — относительно бряк.

— Привет, Джо, — сказал Стар в трубку. — Послушай-ка, на предварительном просмотре двое зрителей пожаловались, что у Моргана ширинка расстегнута целых полфильма... Конечно, они преувеличивают, но даже если на протяжении всего десяти футов... Нет, этих зрителей не сыщешь теперь, но вам придется снова и снова прокручивать фильм, пока не засечете этот кусок. Посадите в просмотром побольше народа — кто-нибудь да заметит.

(Вот уж действительно: *Tout passe. — L'art robuste Seul a l'éternité.*)

— И сейчас придет этот принц из Дании, — сказала Кэтрин Дулан. — Он очень красивый. Хотя высоковат, — прибавила она почему-то.

— Благодарю, Кэтрин, — сказал Стар. — Спасибо. Тронут вашим намеком на то, что среди невысоких у нас самый красивый теперь — я. Пусть высокого гостя поведут по съемкам, и скажите ему, что в час мы с ним завтракаем.

— И в приемной ждет мистер Джордж Боксли — вид у него отменно, по-английски, злой.

— Что ж, уделим ему десять минут. Когда она уже выходила. Стар спросил:

— От Робби не было звонка?

— Нет.

— Позвоните звуковикам, и если они могут с ним связаться, то спросите вот что. Спросите у Робби, не знает ли он, как зовут тех вчерашних ночных посетительниц. Хотя бы одну из них. А если не фамилию, то пусть даст любую деталь, приметку, по которой можно бы их разыскать.

— Что еще узнать у него?

— Больше ничего. Но скажите ему, это важно — пока у него в памяти свежо. Кто они такие? Да-да, спросите его, кто они, что они. То есть...

Она ждала, опустив глаза в блокнот и быстро записывая.

— ... то есть они, возможно... сомнительной репутации? Не актрисы ли? А впрочем, это все отставить. Пусть только подскажет, как их найти.

Полисмен Малой смог сообщить немного. Две дамочки, и он их быстро выставил со студии, будьте спокойны. Причем одна сердилась. Которая? Да одна из тех двух. У них машина стояла, шевролетка. Хотел даже номер записать. — Сердилась та, что покрасивей? — Вот уж не приметил.

Ничего Малон не приметил и не заметил. Даже на студии уже успели забыть Минну. За каких-нибудь три года. Что ж, по линии полисмена — все.

Мистера Джорджа Боксли Стар встретил отечески доброй улыбкой. Она выработалась у Стара из улыбки, так сказать, сыновней, когда Стар еще юнцом был взброшен на высокий пост. Первоначально то была улыбка уважения к старшим; затем вершить дела на студии стал все больше он и все меньше они, старшие, и улыбка стала смягчать этот сдвиг и, наконец, раскрылась в улыбку доброты сердечной — иногда чуть торопливую, усталую, но неизменно адресованную всякому, кто в течение данного часа не навлек на себя гнев Стара. Всякому, кого Стар не намеревался резко и прямо оскорбить.

Мистер Боксли не улыбнулся в ответ. Он вошел так, словно его втащили силой, хотя втаскивавших и не видно было. У кресла он остановился, но опять-таки точно не сам сел, а был схвачен за локти двумя невидимыми конвоирами и усажен. Он молчал насупленно. Закурил предложенную Старом сигарету, но и тут казалось, будто спичку поднесли некие внешние силы, которым он брезгливо повинует. Стар смотрел на него с учтивостью.

— В чем-то неполадки, мистер Боксли? Романист молча поднял на Стара глаза, темные, как грозовая туча.

— Ваше письмо я прочел, — сказал Стар, отбросив любезный тон, каким молодой директор школы обращается к ученику, и заговорив «на равных» — с оттенком почтения, но и с достоинством.

— Я не могу добиться, чтобы сценарий писался по-моему, — взорвался Боксли. — У вас у всех отношение ко мне очень милое, но это прямо какой-то заговор. Вы мне дали в

сотрудники двух поденщиков, которые меня выслушивают, а затем все портят — по-видимому, лексикон их не превышает сотни слов.

— А вы бы сами писали текст, — сказал Стар.

— Я и писал. Я послал вам фрагмент.

— Но там были одни разговоры, перебрасывание словами, — мягко сказал Стар. — Интересные, но только разговоры.

Лишь с величайшим трудом удалось двум призрачным конвоирам удержать Боксли в кресле. Он порывался встать; он издал негромкий, лающий какой-то звук — если смех, то отнюдь не веселый.

— У вас тут, видимо, не принято читать сценарии. В моем фрагменте эти разговоры происходят во время поединка. Под конец один из дуэлянтов падает в колодец и его вытаскивают в бадье. — Боксли опять пролаял-засмеялся и смолк.

— А в свой роман вы бы вставили это, мистер Боксли?

— Что? Нет, разумеется.

— Сочли бы это дешевкой?

— В кинематографии стандарты другие, — сказал Боксли уклончиво.

— А вы ходите в кино?

— Нет, почти не хожу.

— Не потому ли, что там вечно дерутся на дуэлях и падают в колодцы?

— Да, и к тому же у актеров неестественно напряженные лица, гримасы, а диалог искусствен и неправдоподобен.

— Отставим на минуту диалог, — сказал Стар. — Согласен, что у вас он изящнее, чем у этих поденщиков, — потому мы и пригласили вас. Но давайте вообразим что-нибудь не относящееся ни к плохому диалогу, ни к прыжкам в колодцы. Есть у вас в рабочей комнате газовая печка?

— Есть, по-моему, — сказал Боксли сухо, — но я ею не пользуюсь.

— Допустим, вы сидите у себя, — продолжал Стар. — Весь день вы дрались на дуэлях или же писали текст и теперь устали драться и писать. Просто сидите и смотрите тупо — мы все, бывает, выдыхаемся. В комнату входит миловидная стенографистка — вы ее уже раньше встречали и вяло смотрите теперь на нее. Вас она не видит, хотя вы рядом. Она снимает перчатки, открывает сумочку, вытряхивает из нее на стол...

Он встал, бросил на письменный стол перед собой кольцо с ключами.

— Вытряхивает две десятицентовые монеты и пятак — и картонный спичечный коробок. Пятак она оставляет на столе, десятицентовики кладет обратно в сумочку, а черные свои перчатки несет к печке, открывает дверцу и сует внутрь. Присев на корточки, достает из коробка единственную спичку. Вы замечаете, что в окно потянуло сквозняком, — но в это время зазвонил ваш телефон. Девушка берет трубку, отзывается, слушает — и произносит с расстановкой: «Я в жизни не имела черных перчаток». Кладет трубку, приседает опять у печки, зажигает спичку — и тут вы вдруг быстро оглядываетесь и видите, что в комнате присутствует еще и третий, следящий за каждым движением девушки...

Стар замолчал. Взял ключи, спрятал в карман.

— Продолжайте, — сказал Боксли, улыбаясь. — Что происходит затем?

— Не знаю, — сказал Стар. — Я просто занимался кинематографией.

— Но это мелодрама, — возразил Боксли, чувствуя, что выходит из спора побежденным.

— Не обязательно, — сказал Стар. — Во всяком случае, никто не метался, не гримасничал, не вел дешевых диалогов. Была всего-навсего одна — плохая — строчка диалога, и писателю вашего калибра нетрудно ее улучшить. Но я сумел вас все же заинтересовать.

— А пятак зачем? — уклонился Боксли от подтверждения.

— Не знаю, — сказал Стар. И вдруг рассмеялся: — А впрочем, пятак — для кинематографичности.

Боксли наконец освободился от своих невидимых конвоиров. Он вольно откинулся на спинку кресла.

— За что вы мне, чорт возьми, платите? — спросил он со смехом. — Я ведь не разбираюсь в этой хиромантии.

— Разберетесь. — широко улыбнулся Стар. — Иначе не спросили бы про пятак. Они вышли в приемную.

— Знакомьтесь, мистер Боксли. — Стар указал на большеглазого брюнета. — Это мистер Майк Ван Дейк. С чем явился, Майк?

— Да просто так, — сказал Майк. — Заглянул проверить, не обратился ли ты в миф.

— Ты бы шел работать, — сказал Стар. — А то меня уже неделю не смешат комедийные кадры.

— Боюсь, как бы нервы окончательно не расплясались.

— Ты все же формы не теряй, — сказал Стар. — Ну-ка, блесни перед публикой. — Он повернулся к Боксли. — Майк у нас гэгмен — выдумщик трюков. Я еще пешком под стол ходил, а он уже делал здесь кино. Майк, покажи мистеру Боксли двойной мах с брыком, смыком и чесоном.

— Прямо здесь? — спросил Майк.

— Да, здесь.

— Места мало. Я хотел к тебе насчет...

— Места достаточно.

— Ладно. — Майк огляделся, примериваясь. — Кто-нибудь дайте выстрел.

Кейти, помощница мисс Дулан, взяла плотный бумажный пакет, дунула в него, расправила.

— Эта выдача относится еще к кистонским временам, — сказал Майк мистеру Боксли.

— «Выдача» — значит фортель, номер, — пояснил Стар. — Джорджи Джессел острит насчет «геттисбергской выдачи» Линкольна.

Кейти зажала зубами надутый пакет. Майк встал спиной к ней.

— Готов? — И пакет звучно лопнул, сплюснутый ладонями Кейти. В тот же миг Майк ухватил себя обеими руками за ягодицы, подпрыгнул, выбросил сперва одну ногу вперед, затем другую, разъезжаясь как бы для шпагата, дважды при этом взмахнул руками, как хлопает крыльями птица...

— Двойной мах, — сказал Стар.

... и чесанул через распахнутую рассыльным сетчатую дверь, мелькнув на прощание в балконном окне.

— Мистер Стар, — сказала мисс Дулан. — На проводе Нью-Йорк, звонит мистер Хэнсон.

Десятью минутами позже Стар нажал кнопку, и мисс Дулан, войдя, сообщила, что в приемной ожидает актер-звезда.

— А вы скажите, меня нет — ушел через лоджию.

— Хорошо. Он на этой неделе уже четвертый раз приходит. Он чем-то очень удручен.

— А он не сказал хоть намеком, что ему от меня нужно? Может быть, ему к мистеру Брейди?

— Он не сказал. У вас сейчас начнется совещание. Мисс Мелони и мистер Уайт сидят уже у меня. Мистер Брока ждет рядом, у мистера Рейнмунда.

— Давайте мистера Родригеса, — сказал Стар. — Предупредите, что я смогу уделить ему всего минуту. Вошел актер-красавец; Стар принял его стоя.

— Что там у тебя такого неотложного? — спросил он приветливо.

Актер заговорил не раньше, чем закрылась дверь за мисс Дулан.

— Монро, мне к тебе позарез нужно, — сказал он. — Я спекся.

— Спекся? — сказал Стар. — А ты читал в последнем номере «Вэрайети»? Твоя картина до сих пор идет у Рокси, и в Чикаго за прошлую неделю дала тридцать семь тысяч.

— И это больней всего. В этом трагедия. К моим услугам все, чего ни пожелаю, и все теперь — псу под хвост.

— Да ты объясни толком.

— Между Эстер и мной все кончено. И навсегда.

— Поругались?

— Ох, нет — хуже, и говорить об этом нестерпимо. У меня мозг оцепенел. Брожу как сумасшедший. Роль веду как во сне.

— Я не замечал, — сказал Стар. — Во вчерашних кадрах ты был бесподобен.

— Вот, вот. Это лишний раз показывает, что в чужую душу не заглянешь.

— И неужели вы с Эстер разойдетесь?

— Этим кончится, наверно. Да. Этого не миновать.

— Но в чем у вас дело? — нетерпеливо спросил Стар. — Что она — вошла без стука?

— Да нет, третьи тут не замешаны. Причина только во мне. Я — спекся. Стар внезапно понял.

— Откуда у тебя вдруг такая уверенность?

— Не вдруг — уже полтора месяца.

— Это воображение твое, — сказал Стар. — У врача был?

Актер кивнул.

— Я уже все испробовал. Даже с отчаяния съездил... в заведение Клэрис. Но совершенно впустую. Мне полная гибель.

«А не переадресовать ли его к Брейди?» — толкал Стара некий иронический бесенок. Ведь всеми вопросами актерской рекламы ведает Брейди. Только какая уж это реклама... Стар на секунду отвернулся, погасил усмешку.

— Я уже был у Пата Брейди, — сказал актер, точно угадав его мысль. — Он насоветовал мне кучу липовых средств, я их все перепробовал, и все зря. За обедом мне стыдно поднять глаза на Эстер. Она молодчина, отнеслась чутко, но я горю от стыда. Круглосуточно сгораю от стыда. «Дождливый день» принес в Де-Мойне тысяч, наверно, двадцать пять, в Сент-Луисе побил все рекорды сбора, а в Канзас-Сити дал двадцать семь тысяч. Я засыпан сейчас письмами поклонниц, а сам боюсь вечером ехать домой, боюсь ложиться в постель...

Стара начали уже слегка томить эти жалобы. Стар хотел было пригласить актера на коктейль, но теперь приглашение явно отпадало. Что бедняге коктейль и рекордный сбор от картины, когда с ним такое. Стар мысленно представил, как актер бродит от гостя к гостю с бокалом в руке и с камнем на сердце.

— И вот я пришел к тебе, Монро. Я не помню ситуации, из которой ты не нашел бы выхода. Я подумал: даже если скажет застрелиться — все равно иду к Монро.

На столе у Стара пискнул зуммер; он включил диктограф и услышал голос мисс Дулан:

— Истекло пять минут, мистер Стар.

— Виноват, — сказал Стар. — Мне понадобится еще минута-две.

— Пятьсот учениц колонной пришли из школы к моему дому, — безрадостно сказал актер, — а я только стоял и смотрел на них из-за портьеры. Так и не решился к ним выйти.

— Да ты садись, — сказал Стар. — Обсудим без спешки.

В приемной уже десять минут ждали двое участников совещания — Уайли Уайт и Джейн Мелони. О Джейн, сухонькой, светловолосенькой, пятидесятилетней, можно было услышать пятьдесят разнородных мнений — полный голливудский ассортимент оценок: «сентиментальная дура», «лучший сюжетист Голливуда», «заслуженная ветеранка», «халтурщица старая», «другой такой умницы нет на студии», «самый ловкий плагиатор во всем кинобизнесе». И вдобавок, уж конечно, такие пестрые эпитеты, как нимфоманка «любому и каждому», старая дева, лесбиянка и верная жена. Старой девой Джейн не была, но повадки у нее были стародевичьи, как у большинства женщин, собственным трудом пробивших себе дорогу. У нее была язва желудка, а годовой оклад ее превышал сто тысяч. Можно было бы написать ученый

трактат о том, «стоила» ли она этих денег, или еще больших, или же ни гроша не стоила. Ценность ее заключалась в таких простых, ординарных достоинствах, как то, что она была женщина и легко ко всему применялась, быстро соображала и заслуживала доверия, понимала дело и не страдала самовлюбленностью. Она была очень дружна с Минной, и за протекшие годы Стару удалось подавить в себе антипатию к Джейн, доходившую до физического отвращения.

Джейн и Уайли сидели молча — изредка лишь обмениваясь словом с мисс Дулан. То и дело звонил Рейнмунд, помощник продюсера, ждавший у себя вместе с Джоном Брока, режиссером. Наконец, минут через десять, Стар нажал кнопку, и мисс Дулан призвала Рейнмунда и режиссера; одновременно из кабинета вышел Стар, дружески держа актера под руку. Актер был уже так взвинчен, что стоило Уайту спросить, как у него дела, и он тут же раскрыл рот, вознамерясь излить душу при всем народе.

— Ох, дела ужасные, — начал актер, но Стар резко перебил его:

— Ровно ничего ужасного. Иди и работай роль, как я сказал...

— Спасибо тебе, Монро. Джейн Мелони, сжав губы, поглядела вслед актеру.

— Кто-то с него одеяло на себя перетянул? — спросила она, имея в виду известный актерский прием отвлекать на себя внимание публики.

— Простите, что заставил ждать, — сказал Стар. — Прошу в кабинет.

Был уже полдень, а совещанию Стар отводил ровно час времени. Не меньше (прервать такое совещание мог только режиссер, у которого застопорились съемки); но, как правило, и не больше, ибо каждые восемь дней компания должна выпускать кинопостановку, по сложности и стоимости не уступающую «Мираклю» Рейнгардта.

Лет пять назад, бывало. Стар мог проработать запойно всю ночь над одним фильмом. Но теперь это случалось реже: после такого запоя он несколько дней чувствовал себя разбитым. Переходя же с проблемы на проблему, он всякий раз испытывал прилив энергии. И как некоторые умеют просыпаться в назначенное себе время, так Стар умел завести себя ровно на час неотрывной работы.

В собравшуюся на совещание группу входили, помимо сценаристов, Рейнмунд — один из самых приближенных к Стару помощников продюсера, и Джон Брок — режиссер фильма.

Брок с виду был воплощением умельца: крупнотелый, без нервов, спокойно-решительный, располагающий людей к себе. Он был невежествен, и Стар частенько ловил его на повторении одних и тех же сцен; во всех его фильмах присутствовала сцена с молодой богатой девушкой — тот же ход действия, те же движения. В комнату вбегают целая свора собак и прыгает вокруг девушки. Потом та идет в конюшню и треплет жеребца по крупу. Объяснить это пристрастие режиссера можно было бы, не прибегая к фрейдизму; вероятнее всего, как-то в унылую минуту юности Брок увидел в щель забора прелестную девушку с собаками и лошадьми. Это навсегда отпечаталось у него в мозгу эталоном романтики и шика.

Рейнмунд был красивый молодой ловчила с неплохим образованием. От природы он не лишен был характера, но уродливая должность «надсмотрщика» вынуждала его ежедневно кривить душой в мыслях и поступках. И человек выработался из него дрянной. В тридцать лет он не обладал ни одним из благородных качеств, которыми американцев — как христиан, так и евреев — учат восхищаться. Но картины он выпускал в срок и не стеснялся подчеркивать свое почти непристойное обожание Стара, чем и сумел, видимо, пустить Стару пыль в обычно зоркие глаза. Стар любил его — считал разносторонне пригодным работником.

Уайли Уайт, разумеется, в любой стране был бы распознан как интеллектурал низшего разряда. Он был парень культурный, говорливый, вместе и простецкий и не без тонкости, слегка шальной, слегка угрюмый. Зависть к Стару выказывалась у него лишь промельками и обмолвками и была смешана с восхищением, даже привязанностью.

— До начала съемок по этому сценарию осталось две недели, считая от субботы, — сказал Стар. — Сам по себе сценарий сносен — стал теперь намного лучше.

Рейнмунд и оба сценариста переглянулись, как бы поздравляя друг друга.

— Одно вот только, — задумчиво продолжал Стар. — Я не вижу, зачем вообще делать эту картину, и решил положить сценарий на полку.

Минута пораженного молчания, — затем ропот протеста, ошарашенные переспросы.

— Я не виню вас, — сказал Стар. — Просто в сценарии не оказалось того, что — я считал — окажется. — Он помолчал, глядя опечаленно на Рейнмунда. — А жаль, пьеса-то хорошая. Мы за нее пятьдесят тысяч уплатили.

— А чем плох сценарий? — грубовато спросил Брока.

— Вряд ли стоит вдаваться в подробности, — сказал Стар.

Рейнмунд с Уайтом оба думали о том, как эта новость отразится на их профессиональной репутации. За Рейнмундом в этом году числились уже два фильма, но Уайту нужно было снова выдвигаться — нужно было, чтобы сценарий прошел и в титрах значилась его фамилия.

Небольшие глазки Джейн Мелони пристально смотрели на Стара из запавших, как у черепа, глазниц.

— Все же поясни как-то свое решение, Монро, — сказал Рейнмунд. — Оно ведь крепко по нас бьет.

— Просто-напросто я не стал бы занимать в этой картине, скажем, Маргарет Саллавэн, — ответил Стар. — Или Рональда Колмена. Я бы им не посоветовал играть в ней...

— Конкретнее, Монро, — попросил Уайт. — Что тебе не понравилось? Мизансцены? диалог? юмор? построение сюжета?

Стар взял сценарий со стола — и уронил, точно и в прямом смысле дело было «из рук вон».

— Не нравятся мне эти люди, — сказал он. — Неинтересно было бы с ними встретиться — если бы знал, что увижу их там-то, я бы пошел куда-нибудь в другое место.

Рейнмунд улыбнулся, но в глазах у него была тревога.

— Н-да, отзыв убийственный, — сказал он. — А я-то полагал, что персонажи весьма интересные.

— И я тоже, — сказал Брока. — Я полагал, Эмми — девка симпатичнейшая.

— Вы полагали? — сказал Стар резко. — Я в девушке не ощущаю жизни. А прочтя до конца, задаю себе вопрос: «Ну и что?»

— Но можно ведь как-то поправить, — сказал Рейнмунд. — Ведь нам огорчительно. Структура же с тобой согласована.

— Но тональность не та, — сказал Стар. — Я много раз вам говорил, что первым делом решаю, какой мне нужен в фильме общий тон. Все другое мы можем менять, но раз общий тон установлен, то отныне каждая строка и каждое движение должны работать на его создание. У вас совсем не то, что мне нужно. От пьесы шло тепло и сиянье — она была радостная. А тут полно сомнений, колебаний. У героя с героиней любовь ломается из-за пустяков — и опять завязывается из-за пустяков. После первого же эпизода зрителю становится безразлично — хоть бы и вовсе она с героем и герой с ней больше не увиделись.

— Вина тут моя, — сказал вдруг Уайли. — Видишь ли, Монро, по-моему, стенографистка теперь уже не может относиться к боссу с тем же телячьим восхищением, что в двадцать девятом году. Ее с тех пор увольняли, босс у нее на глазах уже паниковал. Словом, мир изменился.

Стар коротко кивнул, нетерпеливо глядя на него.

— Но не о том наша история, — сказал Стар. — Она исходит из предпосылки, что девушка относится к боссу именно с телячьим восхищением, как ты выразился. И ниоткуда не видно, что в прошлом герой паниковал. Если у вас девушка засомневалась как-либо в герое, то получается совсем другая история. Или, верней, вообще никакой не получается. Действующие лица здесь не копаются в себе, они сангвиники — прошу запомнить накрепко — и такими должны быть с первого кадра до последнего. Когда я захочу экранизировать психологическую драму, то куплю пьесу Юджина О'Нила.

Джейн Мелони, не сводившая глаз со Стара, уже поняла, что тучи рассеиваются. Если бы Стар действительно решил поставить на картине крест, то говорил бы иначе. Джейн зубы съела на этом деле; стажем превосходил ее один Брока, с которым у Джейн лет двадцать назад был роман, продлившийся три дня.

Стар повернулся к Рейнмунду.

— Уже по составу актеров ты должен был понять, Рейни, какой мне требуется фильм. У меня устала рука отмечать строчки, которые не прозвучат у Корлис и Мак-Келуэя. На будущее запомни: если я заказываю лимузин — значит, мне нужен именно лимузин. И гоночную малолитражку я не приму, пусть даже самую быстроходную в мире. А теперь... — Он обвел взглядом присутствующих. — Стоит ли дальше возиться — теперь, когда вы знаете, что это вообще не то и не подходит! Будем ли продолжать? У нас две недели. По их истечении я ставлю на роли Корлис и Мак-Келуэя — либо на этот фильм, либо на другой. Так стоит ли возиться с этим?

— Конечно, стоит, — сказал Рейнмунд. — Мне это крайне огорчительно. Я должен был предостеречь Уайли. Мне казалось, у него тут неплохие придумки.

— Монро прав, — грубовато сказал Брока. — Я все время чувствовал — не то. Не мог только за хвост ухватить.

Уайли и Джейн покосились на него презрительно и обменялись взглядом.

— Ну как, сценаристы, сможете опять разжечь свой пыл? — спросил Стар несурово. — Или посадить кого-нибудь свеженького?

— Я бы не прочь еще разок попробовать, — сказал Уайли.

— А вы, Джейн? Джейн коротко кивнула.

— Вы-то как смотрите на героиню? — спросил ее Стар.

— Признаться, она мне и такая нравится.

— Нельзя пускать такую на экран, нельзя, — предостерег Стар. — Десять миллионов американцев осудят эту девушку. Сеанс длится час двадцать пять минут; если треть этого времени у вас женщина изменяет, то вы тем самым создали впечатление, что она на одну треть шлюха.

— Треть — разве это так уж много? — лукаво спросила Джейн, и все рассмеялись.

— Для меня много, — свел брови Стар, — даже если допустить, что для Бюро Хейса эта пропорция приемлема. Вы хотите заклеить блудницу — пожалуйста, но в другой раз. Наша картина не о том. Она о будущей жене и матери. Причем — причем...

Он нацелил карандаш на Уайли Уайта.

— ... слепого секса тут не больше, чем в этом вот «Оскаре» на моем столе.

— Чорт подери! — сказал Уайли. — Как так не больше! Да она ведь идет к...

— Она не монашка — и не шлюха, — возразил Стар. — В пьесе есть эпизод сильней всего насочиненного вами, а вы его выкинули. Она обменивает в этом эпизоде свои часы, чтобы занять чем-то время.

— Он у нас выпирал, — сказал Уайли виновато.

— Ну так вот, — сказал Стар, — у меня наберется с полсотни идей. Я позову мисс Дулан. — Он нажал кнопку. — И если будут неясности, тут же выясняйте...

Почти незаметно вскользнула мисс Дулан. Стар быстро зашагал по комнате, заговорил. Прежде всего о героине — как она мыслится ему в этом фильме. Девушка она отличная, с одним-двумя небольшими недостатками, как и в пьесе; и не потому отличная, что публике так нравится, а потому, что такого сорта фильм требует — по его, Стара, мысли — такого рода героиню. Понятно? Это не «характерная» роль. Девушка здесь воплощает собой здоровье, энергию, стремление к успеху и любовь. Значимость пьесе придает исключительно та ситуация, в которой героиня очутилась. У девушки в руках секрет, а от него зависит судьба многих и многих. Перед героиней два пути, и она не сразу уясняет, какой из них дурной и какой правильный. Но уяснив, она тут же поступает по справедливости. Вот такая здесь история — незатейливая, чистая и светлая. Без тени сомнений.

— Она и слов таких не слыхала: «волнения на трудовом фронте», — сказал Стар со вздохом — Она еще как бы живет в двадцать девятом. Понятно, какая девушка мне требуется?

— Вполне понятно, Монро.

— Теперь о том, что ею движет, — продолжал Стар. — Во все времена и моменты, что мы видим ее на экране, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом. Ясно это, Уайли?

— Ослепительно ясно.

— Что бы она ни делала, ею движет одно. Идет ли она по улице, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом; ест ли обед — ею движет желание набраться сил для той же цели. Но нельзя ни на минуту создавать впечатление, что она хотя бы в мыслях способна лечь с Кеном Уиллардом в постель, не освященную браком. Мне даже неловко, что приходится сообщать вам об этих вещах, ясных любому младенцу, но каким-то образом они улетучились из сценария.

Раскрыв сценарий, он стал разбирать его страница за страницей. Мисс Дулан потом перепечатает запись в пяти экземплярах и раздаст им, но Джейн Мелони все же делала свои отдельные заметки. Брока закрыл глаза, заслонил их ладонью, — он еще помнил время, «когда режиссер был на студии фигурой», когда сценаристы представляли из себя всего лишь гэгменов или стеснительных, усердных и хмельных юнцов репортеров. Правил тогда режиссер — ни Стара над ним, ни помощников Стара.

Он встряхнулся, услышав свое имя.

— Было бы хорошо, Джон, если бы парень этот у тебя влез на крышу и походил по скату под объективом. Славное бы могло возникнуть чувство — не опасности, не напряжения, а просто так — утро, и паренек на крыше.

Брока оторвался от воспоминаний.

— Ладно, — сказал он. — И чуточку присолить опасностью.

— И того не надо, — сказал Стар. — Он не скользит, не оступает. И отсюда — прямо в следующую сцену.

— Через окно, — предложила Джейн Мелони. — Он к сестре в окно влезает.

— Переход неплохой, — одобрил Стар. — Прямо в сцену с дневником.

Брока уже очнулся полностью.

— Я его сниму чуть снизу, — сказал он. — Не с движения сниму, а с места. Пусть уходит от камеры. Отпущу порядком, затем подхвачу близким планом — и снова отпущу. Не стану его акцентировать, дам на фоне всей крыши и неба. — Такой кадр был ему по душе — режиссерский кадр, какие в теперешних сценариях по пальцам можно перечесать. А снимать — с крана; строить крышу на земле и давать небо рирфоном обойдется в конечном счете дороже. Но тут надо отдать Стару справедливость, у него потолок постановочных расходов — небо, в самом буквальном смысле. Брока слишком долго работал с евреями, чтобы верить басням об их мелочной прижимистости.

— В третьем эпизоде пусть ударит патера, — говорил Стар.

— Что? — воскликнул Уайли. — И чтоб на нас католики обрушились?

— Я уже обсуждал это с Джо Брином. Бывает, священников бьют. Это не наносит урона их сану.

Негромкий голос Стара продолжал звучать — пока мисс Дулан не подняла глаза к часам. Стар оборвал свою речь, спросил Уайта:

— Успеете все это к понедельнику?

Уайли взглянул на Джейн, а та — на него, не трудясь даже кивнуть. «Прощай суббота с воскресеньем», — подумал Уайли. Но он был под сильным впечатлением слов Стара. Когда тебе платят полторы тысячи в неделю, то от экстренной работы бегать не приходится, особенно если твой фильм под угрозой. Как «свободный» — незаконтрактованный — сценарист, Уайли потерпел неудачу по своей излишней беззаботности, но теперь заботу о деле брал на себя Стар. И созданную им настроенность Уайт сохранит надолго — она не развеется ни во дворе, ни за обеденным столом, ни за рабочим. Уайли ощущал в себе сейчас большую целеустремленность.

Прозвучавшее в речах Стара здравомыслие, сценическая выдумка, умное чутье в смеси с полунаивной концепцией всеобщего блага — все это загло Уайта желанием внести и свою долю, положить и свой камень в кладку — даже если труд заранее обречен, а результат будет уныл, как пирамида.

Джейн Мелони смотрела в окно на людскую струйку, текущую к кафе. Она поест у себя в рабочей комнате, а пока принесут поднос, вывяжет на спицах несколько рядов. В четверть второго придет тот человек с контрабандными французскими духами, переправленными через мексиканскую границу. Брать их не грех — это как спиртное при сухом законе.

Брока смотрел, как Рейнмунд увивается около Стара. Брока чувствовал — Рейнмунд идет в гору. Рейнмунду платят семьсот пятьдесят в неделю, а режиссеры, сценаристы и звезды, хоть и в полуподчинении у Рейнмунда, получают гораздо больше. Рейнмунд носит дешевые английские туфли, купленные в лавке близ отеля «Бeverли Уилшир», — дай ему Бог хорошие от них мозоли. Но скоро он станет заказывать себе обувь у Пила и спрячет подальше свою зеленую тирольскую шляпенку с пером. По жизненной дороге Джон Брока шел впереди Рейнмунда на много лет. Брока прекрасно проявил себя на фронте, но так и не оправился духовно с тех пор, как снес пощечину от Айка Франклина.

В комнате было накурено, и за облаком дыма, за своим столом Стар уходил теперь от них все дальше, хотя и дослушивал еще с обычной учтивостью Рейнмунда и мисс Дулан. Совещание кончилось.

— Мистер Маркус звонит из Нью-Йорка, — сказала мисс Дулан.

— То есть как? — удивился Стар. — Вчера вечером я видел его здесь.

— „Но звонок от мистера Маркуса — на проводе Нью-Йорк, и голос мисс Джейкобс из его конторы.

— Мы с ним сейчас вместе завтракаем, — усмехнулся Стар. — Самый быстрый самолет не успел бы его доставить.

Мисс Дулан вернулась к телефону. Стар ждал, чем кончится.

— Все разъяснилось, — сообщила мисс Дулан чуть погодя. — Произошла накладка. Мистер Маркус утром позвонил в Нью-Йорк, сказал им про землетрясение и что залило площадки, и вроде бы велел выяснить у вас детали. Секретарша новенькая, не поняла мистера Маркуса. Не разобралась, видимо.

— Видимо, так, — сказал Стар сумрачно. Сидевшему в приемной принцу Агге был неясен подтекст диалога, но, падкому до экзотики Нового Света, ему почуялось в этом нечто сногшибательно американское: желая выяснить у Стара подробности о наводнении, Маркус звонит своей нью-йоркской секретарше, хотя находится от Стара в двух шагах по коридору. Принц вообразил некие сложные, запутанные взаимоотношения, — не подозревая, что вся путаница возникла в мозгу мистера Маркуса, прежде срабатывавшем с четким блеском стального капкана, а теперь дающем временами сбой.

— Совсем новенькая, видимо, там секретарша, — повторил Стар. — А еще что у вас?

— От мистера Робинсона сведения, — сказала мисс Дулан. — Одна из тех женщин называла ему свою фамилию — Смит, или Браун, или Джонс. Он не помнит точно.

— Ценные сведения, что и говорить.

— И еще она ему сказала, что поселилась здесь в Лос-Анджелесе всего лишь на днях.

— Помнится, на ней был серебряный пояс, — сказал Стар, — с прорезами в виде звезд.

— Я продолжаю выяснять относительно Пита Завраса. Я разговаривала с его женой.

— Что же она вам сказала?

— О, Заврасы пострадали — им пришлось отказаться от дома — она заболела.

— А у Пита в самом деле безнадежно с глазами?

— Она ничего об этом, по ее словам, не знает. Впервые слышит о грозящей ему слепоте.

— Странно.

Идя с принцем завтракать, Стар не переставал думать о Заврасе, но проблема тяготила той же беспроблемностью, что и беда, постигшая актера Родригеса. Нет, людские недуги не по

его части — Стар и о собственном здоровье не слишком заботился. В проулке у кафе он посторонился — мимо катил электрокар со съёмочной площадки, набитый статистками в ярких костюмах эпохи Регентства. Платья трепетали на ветру, нагримированные молодые лица смотрели на Стара с любопытством, и он улыбнулся проезжавшим девушкам.

В отдельном зале студийного кафе завтракали двенадцать человек, считая гостя, принца Агге. За столом сидели денежные тузы — сидели заправились; без гостей они обычно ели молча, лишь время от времени обмениваясь вопросами о жене и детях или роняя что-нибудь неотвязчиво-деловое, освобождая мозг. Восемь из них были евреи; пятеро — уроженцы других стран, в том числе грек и англичанин; все они знали друг друга давно. Внутри группы существовала градация значения и веса — от старого Маркуса по нисходящей к старому Линбауму, сумевшему когда-то купить выгоднейший пакет акций компании. На постановочные расходы Линбауму выделялось не больше миллиона в год.

Старик Маркус упрямо до сих пор не выходил из строя, удручая партнеров своей жизнестойкостью. Какой-то неслабеющий инстинкт держал его начеку, позволял разгадывать интриги — Маркус бывал особенно опасен именно тогда, когда другие думали, что взяли его в кольцо. Черты его землистого лица застыли окончательно, и нельзя было теперь узнать его реакцию даже по рефлекторному подергиванью век — седые брови раскустились, прикрыв внутренние уголки глаз; броня стала сплошной.

Маркус был здесь патриархом, а моложе всех был Стар — теперь-то не так уж разительно. Ведь еще будучи двадцатидвухлетним чудо-мальчиком, он сидел среди них — финансист среди финансистов. У них захватывало дух от быстроты и точности, с какой он производил тогда в уме стоимостные подсчеты, — ибо сами они не были в этом отношении ни волшебниками, ни даже искусниками, вопреки общему представлению об евреях-дельцах. У большинства из них успеху способствовали другие качества, плохо сочетающиеся с искусством калькуляции. Но в деловых сообществах традиция вывозит и тех, кто менее сведущ, и они спокойно полагались на Стара в расчетах высшей сложности, испытывая при этом радостное чувство сопричастности, точно болельщики на футболе.

Как мы сейчас увидим, финансовые расчеты отступили теперь у Стара на второй план, хотя способность к ним осталась.

Стар сидел рядом с принцем Агге, по другую руку принца помещался Морт Флайшэкер, юрист компании, а напротив — Джо Пополос, владелец сети Кинотеатров. Принц Агге питал к евреям смутную враждебность, от которой старался отучить себя. Человек бурной жизни, служивший одно время в Иностранном легионе, он считал, что евреи слишком избегают физического риска. Впрочем, он допускал, что в Америке, в других условиях, они другие, а уж Стар — определенно человек достойный, с какой стороны ни подойти. Что же до остальных, то дельцы — народец, в общем, серый, считал принц; окончательный вердикт здесь выносила кровь Бернадотов, текшая в его жилах.

Что-то связанное с выпуском картины беспокоило сейчас моего отца (далее здесь я буду называть его Брейди, как называл принц Агге, рассказывая мне о завтраке). Линбаум, сидевший напротив Стара, скоро ушел, и Брейди пересел на его место.

— Как обстоит дело с тем фильмом на южноамериканский сюжет? — спросил Брейди.

Принц Агге заметил, что при этих словах два десятка глаз нацелились на Стара, дружно мигнув ресницами, точно крыльями взмахнув все сразу. И — тишина.

— Фильм сейчас в работе, — сказал Стар.

— А смета прежняя? — спросил Брейди. Стар кивнул.

— Она несоразмерно велика, Монро, — сказал Брейди. — Времена сейчас трудные, чуда не произойдет — такого, как с «Ангелами ада» или «Бен Гуром», когда ухлопанные деньги возвращались с лихвой.

Вероятно, атака на Стара была согласована заранее, потому что грек Пополос тут же заговорил витиевато:

— Это неприемлемо теперь, Монро. В смысле, надо прилаживаться к временам, которые меняются. В смысле — что допускаемо в диапазоне процветания, то неконцептуально теперь.

— А ваше мнение, мистер Маркус? — спросил Стар. Взгляды остальных тоже направились на Маркуса, но тот, словно заранее предвидев вопрос, сделал уже знак, и стоявший позади официант подхватил его под локти, поднимая, как корзину за оба уха. В этом корзином положении Маркус смотрел на них с такой беспомощностью — трудно было и представить, что вечерами он, случалось, вставал танцевать со своей молодой канадкой.

— Монро — наш постановочный гений, — сказал Маркус. — Я на него надеюсь, как на каменную стену. Сам-то я и наводнения не видел.

Все проводили уходящего Маркуса молчанием.

— Нет такого фильма, чтобы дал сейчас два миллиона валовых, — сказал Брейди.

— Нету, — подтвердил Пополос. — Никак нету, хоть ты бери их за шиворот и толкай на сеансы.

— Пожалуй, что и нет, — согласился Стар. Он сделал паузу, как бы приглашая всех слушать. — Думаю, большой прокат сможет дать миллион с четвертью. Максимум же по стране — миллиона полтора. И четверть миллиона от проката за границей.

Опять молчание — на этот раз недоуменное, слегка растерянное. Стар повернул голову к официанту, попросил соединить его с секретаршей.

— Но смета как же? — спросил Флайшэкер. — Расход по смете, как я понял, миллион семьсот пятьдесят тысяч. И эту же цифру, я слышу, составит приход. Где же прибыль?

— Я и на эту цифру не рассчитываю, — сказал Стар. — Уверенно рассчитывать можно лишь на полтора миллиона.

Тишина напряглась — принцу Агге слышно было, как с чьей-то замершей в воздухе сигары упал на пол серый нарост пепла. Флайшэкер, с застывшим на лице изумлением, открыл было рот снова, но тут Стару подали через плечо телефонную трубку.

— Ваша секретарша, мистер Стар.

— Да, да. Алло, мисс Дулан. Я насчет Завраса. Я пришел к выводу, что это подленькая сплетня, — голову готов прозакладывать... А, вы уже связались с ним. Хорошо... хорошо. Сейчас надо действовать так: пошлите его сегодня же днем к моему окулисту — к доктору Джону Кеннеди, — пусть засвидетельствует письменно, и надо будет сделать фотокопии — понятно?

Он отдал трубку и разгоряченно повернулся к сидящим.

— Наверно, и до вас доходили слухи, будто Пит Заврас слепнет?

Двое-трое кивнули, но остальных безраздельно занимало другое: неужели Стар допустил в своей смете просчет?

— Чистой воды брехня, — продолжал Стар. — Пит говорит, ему ни разу в жизни не приходилось обращаться к окулисту. Он понятия не имеет, почему студии перестали его брать. Кто-то по злобе или просто так наболтал — и Пит уже год без работы.

Послышался стандартно-сочувственный бормоток. Стар расписался на поданном счете и сделал движение, чтобы встать.

— Прошу прощения, Монро, — заговорил Флайшэкер настойчиво; Брейди и Пополос сидели наготове. — Я здесь на Побережье новичок и, быть может, не уловил всех импликаций и коннотаций. — Он произнес это скороговоркой, но жилки у него на лбу гордо вспухли — знай, мол, воспитанников нью-йоркского университета. — Так ли надо вас понимать, что вы заранее рассчитываете на убыток в четверть миллиона?

— Фильм ведь не кассовый, а престижный, — возразил Стар невинным тоном.

Присутствующие начали уже понимать, куда гнет Стар, но все еще надеялись, что это розыгрыш, что на самом деле Стар рассчитывает на доход. Никто, будучи в здравом уме...

— Мы два года уже даем сплошной «верняк», — сказал Стар. — Пора и убыточную картину сделать. Отнесем ее в графу расходов на престиж — она привлечет нам новых зрителей.

Кой-кому все еще казалось, что Стар считает постановку авантюрой, но с шансами на прибыль. Однако Стар тут же рассеял иллюзии.

— Убыток обеспечен, — сказал он и встал, слегка выпятив подбородок и блестя, улыбаясь глазами. — Будет чудом большим, чем с «Ангелами ада», если нам удастся хотя бы вернуть свое. Но у нас перед зрителем нравственный долг, как неоднократно заявлял Пат Брейди на обедах Академии киноискусства. Включение убыточной картины оздоровит план постановок.

Он сделал приглашающий кивок принцу Агге, и тот не мешкая откланялся, стараясь напоследок оценить впечатление, которое произвели на всех слова Стара. Но ничего нельзя было прочесть в глазах — они были не то чтобы опущены, а устремлены горизонтально и невидяще куда-то поверх скатерти и учащенно мигали, и не было слышно ни звука.

Выйдя из комнаты, Стар с Агге прошли краем главного обеденного зала. Принц Агге приглядывался с жадностью. Зал пестрел цыганками, горожанами, военными — в бакенбардах, в галунных мундирах Первой империи. С расстояния казалось, это дышат и движутся люди, жившие сто лет назад, и Агге подумал: «Забавно бы поглядеть на статистов, переряженных нами, нынешними, в каком-нибудь будущем историческом фильме».

Но тут он увидел Авраама Линкольна и сразу посерьезнел. Детство принца совпало с зарей скандинавского социализма, когда биографическая книга Николея о Линкольне была в большом ходу. Принцу внушали, что Линкольн — великий человек, достойный восхищения, и Агге терпеть его не мог, навязанного в образцы. Но теперь Линкольн сидел за столиком, положив ногу на ногу, — добродушное лицо нагнуло к обеду ценой в сорок центов, включая десерт, а на плечи накинул свой плед в защиту от вентиляторных сквозняков, — и теперь принц Агге, добравшийся до сокровенной Америки, глядел во все глаза, как турист в музее. «Так вот он — Линкольн». Стар отошел уже далеко, оглянулся на Агге, а тот все медлил и глядел. «Так вот она — американская суть».

Неожиданно Линкольн взял с тарелки треугольный кусище торта, сунул себе в рот, и, слегка оторопев, принц Агге поспешил за Старом.

— Надеюсь, вы находите здесь то, чего ищете, — сказал Стар, чувствуя, что уделил принцу недостаточно внимания. — Через полчаса у меня просмотр текущего съемочного материала, а потом милости прошу на все площадки, где вы хотите побывать.

— Я бы предпочел побыть при вас, — сказал Агге.

— Сейчас взгляну, что меня тут ожидает, — сказал Стар. — Мы еще встретимся попозже.

Стара ожидал японский консул в связи с выпуском фильма о шпионах, который мог задеть национальные чувства японцев. Ожидали телеграммы и телефонограммы. Ожидали новые сведения от Робби.

— Он припомнил. Ее фамилия определенно Смит, — сказала мисс Дулан. — Он предложил ей зайти в костюмерную, взять туфли взамен промоченных, но она отказалась — так что иск предъявить нам не сможет.

— Какая неудачная фамилия! Пока переберешь всех Смитов... — Стар подумал с минуту: — Попросите-ка телефонную компанию дать нам список Смитов-абонентов, подключенных в прошлом месяце. И обзвоните их всех.

— Хорошо.

Глава IV

— Здравствуй, Монро, — сказал Ред Райдингвуд. — Рад тебя видеть у нас в павильоне.

Не останавливаясь, Стар прошагал мимо него, направился к роскошно обставленной комнате, которую предстояло снимать завтра. Режиссер Райдингвуд последовал за Старом и тут же убедился, что, как ни убыстрять шаг, все равно Стар на ярд, на два его опережает. Ему стало ясно — Стар дает понять, что недоволен им. Этим приемом Ред и сам пользовался в былые времена. Тогда в его распоряжении была собственная киностудия и вся клавиатура

приемов. На какую клавишу Стар теперь ни нажимаешь, Райдингвуда не удивишь. Построение мизансцен — его родное дело и стихия, переэффектничать его тут Стару не удастся. Как-то сам Голдвин вмешался в его хозяйство, и Райдингвуд втравил его поглубже, дал побарахтаться в роли перед зрителями — и в итоге, как и предвидел Райдингвуд, режиссерский авторитет его был восстановлен.

Стар подошел к роскошной комнате.

— Декорация ни к чорту, — сказал Райдингвуд. — Никакой фантазии. Все равно, как ее ни освещай...

— Но мне-то зачем звонишь? — приблизился к нему вплотную Стар. — Почему не обратился с этим делом к художникам?

— Я звонил не затем, чтобы вызывать тебя сюда, Монро.

— Ты ведь заявлял, что хочешь снимать самостоятельно.

— Виноват, Монро, но я звонил не затем, чтобы вызывать тебя сюда, — повторил Райдингвуд терпеливо.

Круто отвернувшись. Стар пошел назад, к кинокамере. Группа гостей перевела на Стара глаза и раскрытые рты, обозрела его тупо и снова приковалась к героине фильма. Гости были из католического общества «Рыцари Колумба». Им привычны были шествия, в которых несут хлеб, пресуществленный в святые дары, — но здесь перед ними сидела Греза осуществленная, одетая в плоть.

Стар остановился возле героини. Она была в вечернем платье, ее декольтированную грудь и спину покрывала яркая сыпь экземы. Перед каждым эпизодом эту сыпь замазывали густым кремом; отсняв же эпизод, крем немедленно удаляли. Волосы ее цветом и жесткостью напоминали запекающуюся кровь, но зато глаза умели сиять с экрана звездным светом.

Стар не успел еще и слова сказать, как услышал позади себя услужливый голос:

— Лучезарна. Ну просто луч-чезарна. Это помощник режиссера во всеуслышание делал тонкий комплимент. Актрисе не надо было тянуться ухом, напрягать свою бедную кожу. Комплимент относился и к Стару, пригласившему ее на роль с другой киностудии. Косвенное, отдаленное комплимент относился к Райдингвуду.

— Надеюсь, все в порядке? — спросил ее Стар приятным тоном.

— Все чудненько, — кивнула она, — только рекламщики без мыла в душу лезут.

— А мы оградим вашу душу от них, — мягко подмигнул ей Стар.

Имя этой кинодивы стало уже общеупотребительно в значении «шлюха». Надо полагать, она себя целиком скопировала с какой-нибудь царицы из тарзаньей серии, где царицам этим дан во власть, неясно кем и почему, чернокожий народ. Актриса и впрямь смотрела на всех как на «черных». Ее взяли на один фильм — с ней мирились, как с неизбежным злом.

Райдингвуд проводил Стара к выходу.

— Все нормально, — сказал Райдингвуд. — Она держится на своем верхнем уровне.

Здесь их никто не слышал, и Стар вдруг засверкал на режиссера гневными глазами.

— Дерьмо ты наснимал, — сказал Стар. — Знаешь, на кого она в твоих кадрах смахивает — на ежегодную «Мисс Бакалею».

— Я стараюсь взять от нее все, на что...

— Пойдем-ка со мной, — прервал его Стар.

— С тобой? А им объявить перерыв?

— Ничего не надо. — Стар толкнул обитую войлоком дверь.

Машина Стара и шофер ждали у павильона. На студии минуты дороги.

— Садись, — пригласил Стар.

Ред Райдингвуд понял, что дело серьезное. Его вдруг осенило даже, в чем корень беды. С первого дня съемок не актриса у него, а он у актрисы оказался в повиновении. У нее язык, как ледяная бритва, а он человек миролюбивый и, не желая связываться, позволил ей холодно откатать роль.

Ред угадал верно.

— Ты с ней не умеешь обращаться, Ред, — сказал Стар. — Я ведь тебе говорил, что мне нужно. Она нужна мне энергично подлая, а у тебя выходит сыто скучающая. Придется, к сожалению, отставить.

— Картину?

— Нет. Я на нее бросаю Харли.

— Тебе видней, Монро.

— Не обижайся. Ред. В следующий раз попробуем что-нибудь другое.

Машина остановилась перед административным зданием.

— А эпизод мне доснять? — спросил Ред.

— Его сейчас докручивают, — сумрачно ответил Стар. — Харли уже там.

— Но когда ж он успел?..

— Мы вышли — он вошел. Я его вечером усадил читать сценарий.

— Но послушай, Монро...

— Сегодня мне дохнуть некогда, — коротко сказал Стар. — У тебя, Ред, запал иссяк еще три дня назад.

Скандал, да и только, подумал Райдингвуд. Его положению в студии будет нанесен этим небольшой, незначительный, но ущерб, и, пожалуй, придется пока отложить намеченную третью женитьбу. И нельзя даже отвести душу, поругаться — со Старом не поругаешься. О разногласиях с ним шуметь невыгодно. «Заказчик всегда прав» — а в киномире всегда, почти без исключений, прав Стар.

— А мой пиджак? — вдруг спохватился Ред. — Я его на спинке стула оставил в павильоне.

— Знаю, — сказал Стар. — Вот он.

Стар так сосредоточился на том, чтобы смягчить для Райдингвуда отстранение от съемок, что вовсе позабыл об этом перекинутом через руку пиджаке.

«Просмотровая мистера Стара» представляла собой миниатюрный кинозал с четырьмя рядами одутловато-мягких кресел. К переднему ряду придвинуты длинные стволы с заабажуренными лампами, кнопками, телефонами. У стены — пианино, еще с аккомпаниаторских времен. Зал был отделан и обставлен заново всего с год назад, но уже успел принять потертый вид — от работы, от загрузки.

Сюда Стар приходил в два тридцать, и затем снова в шесть тридцать, просматривать отснятое за день. Здесь царил жесткая напряженность. Стар взвешивал результаты труда — итожил месяцы, потраченные на поиск и приобретение, на планирование, писание и переписывание, на подбор актеров, сцен и освещения, на репетиции и съемки, — оценивал плоды внезапных озарений и отчаянных общих потуг, апатии, интриг и пота. Сейчас все это зримо воплощалось на экране — так воплощается на поле боя сложно задуманный маневр, и с передовой несутся сводки.

К Стару в зал приходили представители всех технических отделов вместе с руководителями групп. Режиссеры сюда не являлись — формально потому, что их миссия считалась законченной, а на деле потому, что здесь — под шорох серебристых бобин, точно под струенье затраченных денег — здесь промахам не давали пощады. И у режиссеров возник деликатный обычай отсутствовать.

Все уже были в сборе. Вошел Стар, быстро занял свое место, и шум разговоров стих. Откинувшись на спинку. Стар поднял, подтянул к себе худое колено, свет в зале погас. Чиркнула в заднем ряду спичка — затем тишина.

На экране ватага франко-канадцев поднималась на лодках по реке, преодолевая порожистую быстрину. Эпизод снимали в одном из бассейнов студии, в конце каждого дубля было слышно режиссерское «Стоп!», актеры на экране вытирали лоб, отдувались с облегчением, а то и с веселым смехом, и вода в бассейне переставала течь — иллюзия кончалась. Отобрав из дублей лучшие. Стар ограничился тем, что заметил: «Технически недурно».

В следующем эпизоде, все на той же быстрине, шел диалог между канадской девушкой (ее играла Клодетта Кольбер) и *cougrier du bois*, которого играл Рональд Колмен. Девушка из лодки смотрит вниз на Рональда. Просмотрев несколько кадров, Стар неожиданно спросил:

— Декорация уже разобрана?

— Да, сэр.

— Монро, бассейн потребовался для...

— Немедленно восстановить, — оборвал повелительно Стар. — Второй эпизод сейчас посмотрим снова.

Зал осветился на минуту. Директор съемочной группы поднялся со своего места, подошел к Стару.

— Великолепно сыгранную сцену загубили, — говорил Стар с тихой яростью. — Не тот угол съемки. Клодетта ведет диалог, а камера все это время занята ее прелестным пробормотом. Пробормот — вот что нам нужно, верно? Вот зачем зритель пришел в кино — не лицом Клодетты, а пробормотом любоваться. Передайте Тиму, что напрасно он беспокоил Клодетту, мог бы обойтись дублершей.

Свет потух опять. Чтобы не заслонять Стару экран, директор группы присел на корточки. Эпизод показали снова.

— Теперь видите ошибку? — спросил Стар. — И заметили в кадре волосок — вон там, справа? Выясните, в проектор он попал или на пленку.

В самом конце эпизода Клодетта Кольбер медленно подняла голову, и на зрителя влажно блеснули ее большие светлые глаза.

— Вот что должна была все время давать камера, — сказал Стар. — И ведь Клодетта отлично сыграла. Проведите пересъемку завтра же или еще до вечера сегодня.

Пит Заврас не сделал бы такого ляпсуса. По студиям не наберется и шести операторов, на которых можно во всем положиться.

Зажегся свет; помощник продюсера и директор группы вышли.

— А сейчас, Монро, пустим кусок, снятый еще вчера, — принесли поздно вечером.

Свет погас. На экране выросла голова Шивы, громадная и невозмутимая (хотя пройдет лишь несколько часов, и голову эту понесет хлынувшая вода). Вокруг толклись, толпились верующие.

— В следующих дублях, — вдруг проговорил Стар, — пусть два-три карапуза взберутся Шиве на макушку. Проверьте только, не будет ли это отдавать святотатством. Но думаю, что нет. С детворы спрос невелик..

— Хорошо, Монро.

Серебряный пояс со звездными прорезями... Смит, Джонс или Браун... В колонку «Разное»: женщину с серебряным поясом просят...

Действие перенеслось в Нью-Йорк — пустили сцену из гангстерского фильма, и неожиданно Стар воскликнул в темноте:

— Дрянь сцена! Плохо написана, никчемна, плохо подобраны статисты. Какие это гангстеры? Куча маскарадных конфетных бандитиков. В чем дело, Ли?

— Сцену сочинили сегодня утром, прямо на шестой площадке, — сказал Ли. — Бертон хотел там все сразу заснять.

— И дрянь заснял. И дальше кадры скверные. Подобный хлам нечего печатать. Героиня сама не верит своим словам. И Кэти Грант ей не верит. Такое «я люблю вас» — крупным планом? Да на предварительном вас ошикают, из зала к черту выгонят! Еще и разодела как на бал.

В темноте нажали кнопку; проекционный аппарат выключили, дали свет. Зал беззвучно ожидал. Стар сидел с каменным лицом.

— Кто писал эту сцену? — спросил он наконец.

— Уайли Уайт.

— В трезвом виде?

— Ну конечно.

Стар подумал.

— Засади вечером за нее человек четырех сценаристов, — сказал он. — Посмотри, кто там у нас свободен. Сидней Говард уже приехал?

— Да, сегодня утром.

— Потолкуй с ним. Объясни ему, что мне здесь нужно. Девушка в смертельном ужасе — она тянет время. Вот и весь секрет. Ей не до любви, не до жиру — быть бы живу. И еще, Кэппер...

— Да? — нагнулся из второго ряда художник.

— Декорация тут подгуляла. Все сидящие переглянулись.

— А в чем именно изъян, Монро?

— Это у тебя надо спросить, — сказал Стар. — Но впечатление тесноты. Глаз спотыкается. Дешево как-то.

— А было хорошо.

— Было, согласен. Но чем-то подпортили. Сходи туда вечером, взгляни. Возможно, мебель не ту поставили, загромождали. Может быть, окно прибавить для простора. Перспективу в холле нельзя слегка усилить?

— Я посмотрю, что можно сделать. — Кэппер боком выбрался из ряда, взглянул на часы.

— Придется сразу же за работу, — сказал он. — К ночи сделаю эскизы, и утром перестроим.

— Хорошо. Ли, ты сможешь эти сцены переснять?

— Думаю, что смогу, Монро.

— Вину за пересъемку беру на себя. А эпизод драки готов?

— Сейчас прокрутим.

Стар кивнул. Кэппер поспешно ушел, свет опять погас. На экране четверо мужчин яростно разыгрывали драку в подвале.

— На Трейси взгляните, — сказал Стар со смехом. — Как он на того парня кинулся! Опыта ему явно не занимать.

Драку повторяли снова и снова. Всякий раз теми же самыми движениями. И всякий раз, кончив, драчуны улыбались, хлопали противника дружески по плечу. Только одному из них — постановщику сцены, боксеру, который запросто мог бы вышибить из остальных дух, — грозила опасность травмы, и только от шального, неумелого удара, — а он научил их, как правильно бить. Но все равно самый молодой из актеров боялся за свое лицо, и режиссер искусно заслонял от зрителя его опасливые уклоны, маскировал их хитрыми ракурсами.

Затем двое без конца встречались в дверях, узнавали друг друга и проходили. Сталкивались, вздрагивали, проходили.

Затем девочка под деревом читала, а на суку устроился с книжкой мальчик. Девочке надоело читать, она заговаривала с мальчиком. Тот не слушал. Уронил огрызок яблока ей на голову.

Голос спросил из темноты:

— Длинновато — а, Монро?

— Ничуть, — ответил Стар. — Славно. Смотрится со славным чувством.

— Мне показалось, затянуто.

— Иногда и десять футов пленки могут дать затянутость, а другой раз сцена длиной в двести футов бывает слишком коротка. Пусть монтажер не трогает, пусть позвонит мне — это место в картине запомнится.

Оракул изрек слово истины, исключаящей сомнения и споры. Стар должен быть прав всегда — не большей частью, а всегда, — иначе все сооружение осядет, расплывется, как сливочное масло в тепле.

Прошел еще час. Грезы скользили по белой стене фрагмент за фрагментом, подвергались разбору, браковке, — чтобы стать грезами тысячных толп или же отправиться в мусорную

корзинку. Потом пустили кинопробы, и это значило, что просмотр идет к концу. Пробовались двое: мужчина на характерную роль и девушка. После фильмовых кусков с их тугим ритмом, пробы воспринимались как нечто ровненькое и спокойное; присутствующие сели вольней; Стар спустил ногу на пол. Давать оценку приглашались все. Один из техников заявил, что он бы от этой девушки не отказался; другие остались равнодушны.

— Года два назад ее уже просматривали. Она, видимо, активно пробуетея по Голливуду — но лучше не становится. А мужчина — неплох. Не взять ли его на роль старого русского князя в «Степи»?

— Он и в самом деле бывший русский князь, — сказал ассистент по актерам. — Но он стыдится прошлого. Он по убеждениям красный. И как раз от роли князя он отказывается.

— А на другую не годится, — сказал Стар. Зажгли свет. Стар вложил изжеванную резинку в обертку, сунул в пепельницу. Повернулся вопросительно к секретарше.

— Комбинированные съемки на второй площадке, — напомнила она.

Он заглянул туда — понаблюдал, как с помощью остроумного устройства снимают кадры на фоне других кадров. Потом обсуждали у Маркуса привязку счастливого конца к «Манон Леско». Стар, как и прежде, решительно возражал — вот уже полтора года «Манон» делает деньги и без счастливого конца. Он твердо стоял на своем; в эту пору дня речь Стара текла с особой убедительностью, и, уступив ему, они занялись другим: постановили дать дюжину кинозвезд на концерты в пользу жителей Лонг-Бича, которых землетрясение лишило крова. Давать так давать; пятеро из них тут же собрали в складчину двадцать пять тысяч долларов. Давали они щедро, но без сердечной жалости, свойственной беднякам.

Вернувшись к себе. Стар узнал, что Пит Заврас принес письмо от окулиста; зрение у Пита оказалось 19 — 20, то есть почти идеальное. Сейчас Заврас снимает фотокопии с письма. Стар гордым петушком прошелся по кабинету — под восхищенным взглядом мисс Дулан. Заглянул принц Агге — поблагодарить Стара за доступ на съемки. Во время их разговора пришла загадочная весть от одного из помощников продюсера, что сценаристы Тарлтоны «дознались» и хотят увольняться.

— Нам недостает хороших сценаристов, — пояснил Стар принцу. — А Тарлтоны — хорошие.

— Да ведь вы любого писателя можете нанять! — удивился гость.

— Мы и нанимаем, но сценаристы из них получаются неважные, так что приходится работать с нашим обычным контингентом.

— С кем же это?

— Со всеми, кто принимает наш метод и не пьянствует. Состав у нас пестрый: поэты-неудачники, драматурги, имевшие раз в жизни успех на театре, девушки с университетским дипломом. На разработку идеи мы сажаем их по двое, а если дело стопорится, еще двойку сценаристов сажаем параллельно. Случалось, у меня целых три пары разрабатывали замысел одновременно и независимо одна от другой.

— И такая дублировка им нравится?

— Нет, и мы стараемся им не говорить. Они не гении — при любой другой системе их производительность была бы ниже. Но эти Тарлтоны — супружеский тандем с Востока — весьма недурные сценаристы. Тарлтоны только что узнали, что не одни разрабатывают тему, и это их корбит, ранит их «чувство целостности и единства» — они именно так мне и заявят.

— Но что же тогда придает у вас работе эту необходимую целостность, это единство?

Стар помолчал; лицо его было сурово, лишь в глазах поблескивали искорки.

— Единство даю я, — сказал он. — Всегда рад буду видеть вас на студии.

Затем Стар принял Тарлтонов. Их работа ему по душе, — сказал он, глядя на миссис Тарлтон, точно именно ее творческий почерк различая сквозь машинопись. Он сообщил им ласково, что переводит их на другой фильм, где меньше гонки, больше времени. Как он и надеялся, они попросили оставить их на прежней теме — они понимали, что так быстрее

пробьются на экран, пусть даже только в качестве соавторов. Система работы позорная, — признал он, — грубая, прискорбно коммерческая. Он не упомянул лишь, что сам ее создал.

Когда он проводил их, мисс Дулан торжественно объявила:

— Мистер Стар, вас к телефону — дама с поясом. Стар уединился в кабинете, сел за стол, взял трубку, и под ложечкой у него сжалось. Он еще не решил, чего хочет. Дело Пита Завраса обдумал и решил, а свое не обдумал. Первоначально он хотел только узнать, не с профессионалками ли столкнулся, не актриса ли это, подделавшаяся под Минну, — он сам как-то велел загримировать молодую актрису под Клодетту Кольбер и снять при тех же поворотах головы.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте.

Слыша этот недоуменный голос, лоя в нем отзвук прошлой ночи. Стар ощутил наползающий опять озноб ужаса и отогнал его усилием воли.

— Вас нелегко было найти, — сказал он. — Смит — а кроме этого известно лишь, что вы у нас недавно. И пояс серебряный.

— Да-да... — Голос звучал все еще стесненно, неуверенно. — На мне вчера был серебряный пояс. Ну а дальше о чем?..

— С кем я говорю? — спросил голос с оттенком потревоженного дамского достоинства.

— С Монро Старом, — сказал он. Пауза. Имя это на экранах не мелькало и, по-видимому, мало о чем ей говорило.

— Ах, да-да. Вы были женаты на Минне Дэвис.

— Да.

Неужели подстроено? Перед ним снова встал ночной облик, и эта кожа, неповторимо светлеющая, точно фосфором тронутая. Неужели все-это подстроили с враждебной целью? Не Минна и вместе — Минна... Ветер колыхнул занавески, зашуршал бумагами на столе, и сердце чуть дрогнуло — так густо реален был день за окном. Окунуться в него, была не была, — увидеть ее снова, это лицо в звездной дымке, этот сильный рот, — созданный для нищего и храброго человеческого смеха.

— Я хотел бы увидеться с вами. Не встретиться ли нам на студии?

Поколебалась — и твердый отказ.

— Я крайне сожалею, но встретиться не могу. Сожаление чисто формальное. От ворот поворот. Как ножом отрезала. На помощь Стару пришло простое суетное самолюбие и придало настоятельности его просьбе.

— Я хотел бы увидеть вас. Есть причина.

— Но я, к сожалению...

— Тогда разрешите подъехать к вам домой? Опять она молчит — не колеблясь, а просто выбирая слова для ответа.

— Вы не все обо мне знаете, — проговорила она наконец.

— Вы замужем, что ли? — сказал он уже нетерпеливей. — Это к нашей встрече не имеет отношения. В ней нет ничего тайного. Если у вас муж, приходите вдвоем.

— Я... я никак не могу.

— Но почему же?

— Даже сейчас вот говорю с вами и глупо себя чувствую. Но ваша секретарша настаивала — я уж подумала, не обронила ли что-нибудь в воду, а вы нашли.

— Я очень прошу вас уделить мне пять минут.

— Хотите снимать меня в фильме?

— Нет, я не за тем.

Молчание, такое длинное, что он решил — она обиделась.

— Где же с вами увидеться? — спросила она внезапно.

— А на студии? Или дома у вас?

— Нет, лучше в другом месте.

И неожиданно он стал в тупик: какое назвать место? Домой пригласить? В ресторан? В коктейль-бар? Где встречаются люди? Не в доме же свиданий?

— В девять часов где-нибудь, — сказала она.

— Боюсь, что в девять не удастся.

— Тогда не нужно.

— Хорошо, пусть в девять. Но давайте неподалеку от студии. На Уилширском бульваре есть кондитерская...

Было без четверти шесть. В приемной ожидали двое, они являлись ежедневно в это время, и каждый раз их просили прийти завтра. Дело было не столь существенным, чтобы заняться им немедленно, несмотря на одолевавшую в этот час усталость, и не столь маловажным, чтобы вовсе отмахнуться от него. И, снова отложив прием, Стар посидел за столом неподвижно, думая о России. Вернее, о фильме про Россию, обсуждение которого займет сейчас тридцать безрезультатных минут. О России, он знал, тьма сюжетов, не говоря уже про Главный Сюжет, — и у него целая бригада больше года была занята разысканиями и созданием сценариев, но все получалось не то. Стар чувствовал, об этом можно сказать масштабно, крупно, языком Американской революции, а выходило иначе, упиралось в неприятные проблемы. Он считал, что относится к России по-справедливому, — картину он хотел поставить самую доброжелательную, но оборачивалось это лишь тугой головоломкой.

— Мистер Стар, к вам мистер Драммон, мистер Кристоф и миссис Корнхилл по поводу русского фильма.

— Хорошо, давайте их сюда.

Потом, с шести тридцати до семи тридцати, он просматривал отснятое днем. В другой раз он так и просидел бы до ночи в просмотровой или в зале перезаписи, но сегодня сказывался недосып — и предстояло свидание. По дороге в кафе он зашел к себе. В приемной ждал его Пит Заврас с рукой на перевязи.

— Ты Эсхил и Еврипид кинематографа, — сказал Заврас с поклоном. — И Аристофан, и Менандр тоже.

— Кто они такие? — улыбнулся Стар.

— Мои соотечественники.

— Я не знал, что у вас в Греции делают фильмы.

— Ты отшучиваешься, Монро, — сказал Заврас. — А я хочу то сказать, что ты великолепнейший парень. Я тебе на сто процентов обязан жизнью.

— Ну, как рука?

— Рука — пустяк. Такое ощущение, точно кто взсос целует меня в плечо. Рука — недорогая плата за такой исход дела.

— А как вышло, что ты именно сюда пришел прыгать? — спросил Стар с любопытством.

— Я пришел к Дельфийскому оракулу, — сказал Заврас. — Пришел к Эдипу — и он разрешил мою загадку. Попадись мне только в руки сволочь, пустившая эту сплетню.

— Жаль, что я не получил, как ты, образования, — сказал Стар.

— Выеденного яйца оно не стоит, — сказал Пит. — Я кончил бакалавром в Салониках, и что мне это дало в итоге?

— Итог подводить рано, — сказал Стар.

— Знай, Монро, я за тебя любому глотку перерву, — сказал Заврас. — В любое время дня и ночи.

Стар закрыл глаза, открыл опять. Силуэт Завраса слегка расплылся на солнечном фоне. Стар оперся рукой на столик позади себя, сказал обычным голосом:

— Всего хорошего, Пит.

В глазах потемнело почти до черноты, но он заставил себя сделать несколько привычных шагов в кабинет, защелкнул дверь и лишь затем нашарил в кармане таблетки. Стукнул графин о стол; зазвенел стакан. Он опустил в кресло, дожидаясь, когда подействует бензедрин, чтобы затем идти обедать.

Когда Стар, пообедав, возвращался к себе, ему помахали рукой из проезжающего «родстера». В открытой двухместной машине сидел молодой актер со своей девушкой, и Стар смотрел им вслед, пока они не растворились в летнем сумраке за воротами. Мало-помалу он терял живое ощущение этих радостей, и уже казалось, что Минна унесла с собой всю их остроту; золотой ореол чувства тускнел, скоро даже бесконечная печаль о Минне кончится. Ему по-детски представилось, что Минна там, на синих небесах, и, войдя в кабинет, он — впервые в этом году — вызвал из гаража свой «родстер». Большой лимузин слишком угнетал бы памятью вечных рабочих раздумий и усталых дремот.

Стар вырлился из ворот, все еще внутренне напряженный, но верх у «родстера» был откинут, и Стара опануло летней мглой, и он огляделся. Вдали над бульваром висела луна и очень убедительно казалась новой — круглый год, каждый вечер обновляемой. Минна умерла, но огни Голливуда не погасли; косо отразясь от лимонов, грейпфрутов, зеленых яблок, падало на тротуары матовое сияние из витрин. Лилово замигал стоп-сигнал идущей впереди машины и на следующем перекрестке снова замигал. Всюду кромсали небосвод рекламные прожекторы. На пустынном углу улицы двое загадочных людей ворочали мерцающий бочонок прожектора, чертя в небесах бессмысленные дуги.

В кондитерской, у прилавка со сладостями, стояла и неловко ждала женщина. Ростом она почти не уступала Стару. Ей было явно не по себе, и если бы не вид Стара — учтивый, совсем не нахальный — она бы тут же оборвала свидание. Они поздоровались и вышли на улицу без дальних слов, почти без взглядов, — но, идя к машине. Стар видел уже, что это просто милостивая американка — никак не красавица, не Минна.

— Куда мы едем? — спросила она. — Я не думала, что без шофера. Но ничего, — я неплохо боксирую.

— Боксируете?

— Звучит грубовато, конечно. — Она улыбнулась натянутой улыбкой. — Но про вас, киношников, такие страхи рассказывают.

Мысль о себе, как о бандите-насилльнике, показалась Стару забавной — но лишь на секунду.

— Итак, зачем я вам? — спросила она, садясь в машину.

Он стоял молча, ему хотелось тут же попросить ее вон из машины. Но она уже села и успокоилась — и ведь он сам был виновником всей неловкой ситуации. Сжав зубы, он обошел машину, чтобы сесть за руль. Свет уличного фонаря падал женщине прямо в лицо, и не верилось, что это та самая, вчерашняя. Сходства с Минной не было теперь никакого.

— Я отвезу вас домой, — сказал он. — Где вы живете?

— Домой? — поразила она. — Я не спешу. Если мои слова заделали вас — простите.

— Да нет. Большое спасибо вам, что пришли. Это я сгруппировал. Мне вчера вечером показалось, что вы точная копия одной моей знакомой. Было темно, свет бил мне в глаза.

Женщина обиделась — вот еще, она не виновата, что не похожа на кого-то там.

— И только-то! — сказала она. — Странно. С минуту ехали молча.

— Ах, вы ведь были мужем Минны Дэвис? — осенила ее вдруг догадка. — Простите, что затрагиваю эту грустную тему.

Он быстро вел машину, стараясь лишь, чтобы эта торопливость была не слишком заметна.

— Если вы искали во мне сходства с Минной Дэвис, то напрасно, я совсем другого типа, — сказала она. — Возможно, вы спутали меня с моей подругой. Та похожа больше.

Теперь это было неважно. Важно было побыстрее кончить и забыть.

— Не она ли вам нужна? — продолжала женщина. — Она живет рядом.

— Спутать я не мог, — сказал он. — На вас был серебряный пояс.

— Да, пояс был на мне.

Свернув с бульвара Заходящего солнца на северо-запад, машина стала подниматься по извилистой дороге на холмы. По бокам мелькали невысокие бунгало, золотые от электрического света, он тек из окон, словно звук из радиоприемника.

- Видите окна на самом верху горы? Там Кэтлин живет. А я чуть подальше, на спуске.
- Остановите здесь, — попросила она минутой позже.
- Вы ведь сказали — на спуске.
- Надо заглянуть к Кэтлин.
- К сожалению, у меня...
- Мне самой к ней надо, — сказала женщина нетерпеливо.

Стар тоже вышел из машины. Она направилась к новенькому домику, укывшемуся под ветвями ивы. Стар машинально поднялся следом на веранду. Она позвонила и повернулась, чтобы проститься.

- Извините, что обманула ваши ожидания.
- Виноват я. Спокойной вам ночи, — сказал он, огорчаясь и за нее и за себя.

Из отворяющейся двери косо упал свет, и молодой женский голос спросил: «Кто там?» Стар поднял глаза.

Это она в освещенном проеме — лицо, весь облик и улыбка! Это Минна — по-особому лучистая, точно фосфором тронутая кожа, горячий, щедрый, смелый очерк губ, — и разлита на всем чудесная веселость, чаровавшая целое поколение зрителей.

И, как вечером вчера, он потянулся к ней сердцем, но теперь блаженнее, увереннее.

— Ах, Эдна, в дом нельзя, — сказала девушка. — Я занялась уборкой, весь дом пропах нашатырем.

— По-моему, это тебя он хотел видеть, Кэтлин, — сказала Эдна с развязным, громким смехом.

Взгляды Кэтлин и Стара встретились и слились — эта первая радостная смелость уже не возвращается потом. Мгновенный взгляд был длительней объятия, призывней крика.

— А позвонил мне, — продолжала Эдна. — Должно быть, спутал...

Стар перебил ее, шагнув в полосу света.

— Я хотел принести извинения, мы к вам грубо отнеслись вчера на студии.

Но совсем иное звучало в его голосе, и она вслушивалась, не стыдясь. Жизнь ярко вспыхнула в обоих — Эдна как бы отступила в сторону, в темноту.

— Ничуть не грубо, — сказала Кэтлин. Прохладный ветер свеял ей на лоб каштановые завитки. — Зайцам жаловаться не приходится.

— Приглашаю вас и Эдну осмотреть студию, — сказал Стар.

— А вы там важная персона?

— Он был женат на Минне Дэвис, он — продюсер, — объявила Эдна, словно о чем-то уморительно смешном. — И он мне вовсе о другом говорил сейчас. По-моему, он в тебя втрескался.

— Замолчи, Эдна, — одернула ее Кэтлин. Почувствовав, что ее развязность режет уши, Эдна сказала:

— Зайди ко мне, ладно? — И, деревянно шагая, ушла, — но уже участницей их тайны — свидетельницей искры, пробежавшей сейчас между ними.

— Я вас помню, — сказала Кэтлин. — Вы нас из воды спасали.

Ну, а дальше? Эдна пригодилась бы им теперь. Они были одни и после пылкого начала обретались на зыбкой почве. Обретались в пустоте. Его мир остался далеко отсюда, ее же мир был и вовсе неведом — только голова той статуи да свет из дверного проема.

— Вы ирландка, — сказал он, стараясь создать для нее какой-то фон. Она кивнула.

— Но я долго жила в Лондоне — я не думала, что еще можно догадаться.

Хищно-зеленые глаза автобуса скользнули по темной дороге.

— Я не понравился вашей подруге, — сказал Стар, когда автобус проехал. — Видимо, ее напугало слово «продюсер».

— Мы с ней новички здесь. Она глупышка, но безобидная. Я-то не стала бы вас пугаться.

Пытливо взглянув ему в лицо, она отметила его усталый вид — это замечали все. Но тут же впечатление отодвинулось; на Кэтлин дохнуло глубинным горением — Стар был как жаровня на городской панели в прохладный вечер.

— Наверно, вам проходу нет от девушек, все ведь рвутся в киноартистки.

— Они уже на меня махнули рукой, — сказал Стар.

Положим, не махнули — он знал, что они толкнутся тут же, за порогом; но он давно уже привык к их назойливому гаму, как привыкают к шуму уличного движения. В их глазах Стар был могущественнее короля: тот мог сделать королевой лишь одну, а этот — многих.

— Так и циником недолго стать, — сказала Кэтлин. — Вы не снимать ли меня хотите?

— Нет.

— Вот и отлично. Я не актриса. Как-то в Лондоне, в отеле «Карлтон», ко мне подошел человек и предложил попробоваться, но я подумала — и не пошла.

Они продолжали стоять в прежних позах — точно он вот-вот уйдет и она закроет дверь.

— Я, как сборщик налогов, встал в дверях и не даю хозяйке уйти в дом, — заметил Стар со смехом. Она тоже засмеялась.

— Извините, не могу пригласить вас. Я жакет надену, посидим на веранде?

— Нет... — Что-то вдруг толкнуло проститься. Оставить пока все как есть, в неопределенности.

— Жду вас на студии, — сказал он. — Не знаю, удастся ли мне самому быть вашим гидом, но, когда придете, непременно первым делом позвоните мне.

Между бровями ее легла чуть заметная — тоньше волоска — складка.

— Не знаю, приду ли. Но я вам очень благодарна. Он понял, что она почему-то раздумала — и ускользнула от него. Оба почувствовали, что эпизод исчерпан. Ему надо ехать, хотя и оставшись ни с чем в самом прямом и практическом смысле: не узнав ни номер телефона, ни даже фамилию ее. Но теперь как-то неловко было спросить.

Она проводила его к машине, овевая светлой своей красотой, неизведанной новизною; но когда они вышли из тени, между ними оставался лунный просвет шириной в шаг.

— Вот и все? — вырвалось у Стара.

Сожаление мелькнуло на ее лице, но и улыбка на губах мелькнула уклончиво, словно тайная тропинка приоткрылась на миг.

— Очень надеюсь, что мы еще увидимся, — сказала она с оттенком церемонности.

— Мне будет горько, если нет.

На минуту они отделились друг от друга. Но, развернув машину в соседней аллее, он проехал мимо — она ждала, и он помахал ей, возбужденный и счастливый. Было радостно, что есть еще в мире красота, которую не удастся взвесить на весах актерского отдела.

А дома, сидя за чаем у русского самовара, он ощутил странную тоску. Это воскресла прежняя живая боль, могучая и сладостная. Он раскрыл первый из двух сценариев, составлявших его вечернюю норму. Сейчас он строка за строкой мысленно перенесет их на экран; но прежде он вызвал в памяти Минну. Он сказал ей, что это ровно ничего не значит, что никто ее не может заменить, что он просит прощения.

Вот так примерно протекал день Стара. Я не знаю подробностей болезни, когда она у него началась и т. д. — Стар был скрытен. Но отец мне говорил, что Стар в июле раза два терял сознание. Завтрак на студии описан со слов принца Агге — тот самый, за которым Стар объявил компаньонам, что поставит убыточный фильм, а это что-нибудь да значило, учитывая жесткость его компаньонов, — и ведь Стар сам владел солидным пакетом акций и к тому же по контракту участвовал в прибылях.

Много сведений дал мне Уайли Уайт, и я отнеслась к ним с доверием, потому что Уайли вчувствовался в Стара глубоко — со смесью зависти и восхищения. Сама же я тогда бредила Старом, и, так и знайте, мой рассказ о нем — рассказ влюбленной.

Глава V

Неделей позже я съездила к нему на студию. Было утро, и я была, по-моему, свежа как утро, и даже надела костюм для верховой езды, чтобы создать впечатление, будто с рассвета резвилась на росных лугах.

— Сегодня брошусь под колесницу Стара, — сказала я заехавшему за мной Уайту.

— Бросаться, так под мою, — предложил Уайли. — Лучшая подержанная автоколесница, какую Морт Флайшэкер когда-либо сбывал из своего каретника.

— Ни за шелка и шоколады! — без запинки отпарировала я. — У вас на Востоке жена.

— Она осталась в прошлом, — сказал Уайли. — Ох, Сесилия, Сесилия. Высокая самооценка — ваш козырь. А только, не будь вы дочкой Пата Бренди, кто бы взглянул на вас?

В отличие от наших матерей, мы не спешим оскорбляться. Стоит ли? Стоят ли этого шпильки приятелей? Теперь женятся не на тебе, а на твоих деньгах, причем советуют тебе бросить сантименты, да ты и сама советуешь. Все теперь проще. Или это еще вопросик? — как мы говаривали в тридцать пятом.

Я включила радио, и под мелодию «Колотится сердце мое» машина стала быстро подниматься по Лавровому Каньону. Но все же Уайли ошибается. Лицо у меня неплохое, хотя и кругловатое, а кожи всякий норовит коснуться, и ноги хороши, и бюстгальтера не требуется. А что натура ершистая, так не Уайту кидать в меня камень.

— Правда, это я умно придумала — с утра к нему пораньше? — спросила я Уайта.

— Ага. К самому занятому человеку в Калифорнии. Он будет признателен. А еще бы лучше разбудить его ночью.

— В том-то и дело, что к ночи он устанет. Стольких переживает за день, в том числе и смазливых. А я с утра явлюсь — и завладею мыслями.

— Нехорошо, Сесилия. Грубо-расчетливо.

— А что можете вы мне предложить? Только без хамства.

— Я люблю вас, — сказал он не слишком убежденно. — Люблю ваши деньги, но сильней денег люблю вас, а это уже кое-что. И возможно, ваш отец сделает меня помощником продюсера.

— Я могла выйти замуж за блестящего йельца и жить в Саутгемптоне.

Пошарив по шкале, я поймала не то «Без возврата», не то «Погибшие». Песни в том году пошли хорошие, музыка стала опять улучшаться. В разгар кризиса она особо не блистала, лучшими номерами были уцелевшие с двадцатых — такие, как «Синее небо» в исполнении Бенни Гудмена или «Окончен день» Пола Уайтмена. Оркестры, правда, хорошо звучали. Теперь же мне нравилось почти все, не нравилось только, когда отец мурлычет «Доченька, ты приуслала за день» для создания чувствительно-родительской атмосферы.

«Без возврата» было не под настроение, и я повертела ручку, отыскала «Собою хороша» — вот мой сорт поэзии. Мы поднялись на гребень взгорья; я оглянусь — воздух был так чист, что различим был каждый листик на Закатной горе, в двух милях от нас. Иногда так паразит это тебя — просто воздух, вольный, незамутненный воздух.

— «Собою хороша, душой мила-а», — запела я.

— Когда будете петь Стару, — сказал Уайли, — вставьте куплет о том, какой из меня получится хороший помощник продюсера.

— О нет, моя песня будет исключительно о нас с ним, — ответила я. — Он взглянет на меня и подумает: «А ведь я смотрел на нее раньше, не видя...»

— Эта строчка прошлогодняя, мы ее теперь вычеркиваем, — сказал Уайли.

— Потом назовет меня «Сеси», как назвал в вечер землетрясения. Скажет, что и не заметил, как я расцвела.

— А вам останется только стоять и таять.

— А я буду стоять и цвести. Он поцелует меня, как целуют ребенка, и...

— Но все это уже есть у меня в разработке, — пожаловался Уайли. — И завтра я кладу ее Стару на стол.

— ... и сядет, спрячет лицо в ладони, проговорит, что никогда не думал обо мне как о женщине.

— А-а, успел, значит, ребеночек прижаться во время поцелуя!

— Я же сказала, что стою и цвету. Сколько раз надо повторять: цве-ту.

— Ваш сценарий начинает отдавать дерюгой, — сказал Уайли. — Не пора ли закруглиться? Мне предстоит сейчас работа.

— Потом скажет, что это было нам с ним предназначено.

— Что значит дочь кинопромышленника! Вся в папашу. Халтура в крови. Брр! — Он деланно поежился. — Не дай Бог получить в вены порцию такой крови.

— Потом скажет...

— Его роль наперед вся известна. Меня больше интересуют ваши реплики.

— И тут кто-то войдет, — продолжала я.

— И вы быстренько вскочите с кушетки, оправляя юбку.

— Сейчас выйду из машины и пешком вернусь домой!

Мы въехали в Беверли-Хиллс; все вокруг хорошело от высоких гавайских сосен. Голливуд четко разделен на жилые зоны согласно принципу «По одежке протягивай ножки», — здесь вот обитают главы студий, режиссеры, там вон техперсонал в одноэтажных бунгало, и так далее вплоть до статистов. Мы проезжали «руководящую» зону — затейливый архитектурный марципан, и с утра сегодня он выглядел красиво, хотя в самом закоптелом виргинском или нью-гэмпширском поселке больше романтики.

«А вдруг он стал другой, — пело радио, — твой милый, дорогой?»

Терзалось сердце, и дым попал в глаза, и все такое, но я тем не менее считала, что хоть половинный, а шанс у меня есть. Войду в кабинет и решительно устремлюсь к нему, точно сейчас вот с ног собью или поцелую в губы — а в полушаге от него остановлюсь и скажу «Привет!», так трогательно обуздав себя.

Так я и вошла — но, конечно, получилось не по-моему. Стар своими темными красивыми глазищами взглянул мне прямо в глаза и, я уверена, прямо в мысли — и при этом без малейшего смущения. Я стала перед ним, стою, стою, а он только дернул уголком рта и сунул руки в карманы.

— Пойдете со мной вечером на бал? — спросила я.

— А где это?

— В «Амбассадоре» — бал сценаристов.

— Ах, да. — Он подумал. — С вами не смогу. Попозже загляну, может быть. У нас сегодня просмотр в Глендейле.

Мечтаешь, планируешь, а как все потом по-другому выходит! Он сел, и я тоже подседа к столу, примостила голову среди телефонов, как рабочую принадлежность, взглянула на Стара — и получила в ответ взгляд его темных глаз, такой добрый и совсем не тот. Не чувствуют мужчины, когда девушка сама дается в руки. Только и вызвала у него что вопрос:

— Почему не выходите замуж, Сесилия? Сейчас опять заговорит о Робби, будет нас сосватывать.

— А чем я могу заинтересовать интересного человека? — спросила я в ответ.

— Скажите ему, что любите его.

— Значит, самой добиваться взаимности?

— Да, — сказал он с улыбкой.

— Не знаю... Насильно мила не будешь.

— Да я бы сам женился на вас, — неожиданно сказал он. — Мне чертовски одиноко. Но слишком я старый, усталый и ни на что уже не в силах отважиться.

Я обошла стол, шагнула к нему.

— Отважьтесь на меня.

Он взглянул удивленно, только тут поняв, до какой жуткой степени у меня это всерьез.

— Ох, нет, — сказал он почти жалобно. — Кино — вот моя жена теперь. У меня мало остается времени. — И тут же поправился: — То есть совсем не осталось.

— Я вам не нравлюсь, Монро.

— Нравитесь, — сказал он и произнес те самые, вымечтанные мной слова, да только по-другому. — Но я никогда не думал о вас как о женщине. Я ведь вас ребенком знал. Я слышал, вы собираетесь замуж за Уайли Уайта.

— И вам это — все равно?

— Нет, нет. Я хотел предостеречь вас — подождите, пусть он года два продержится без запоев.

— У меня и в мыслях нет выходить за Уайта. Зачем он свернул разговор на Уайли? И тут, как у меня по сценарию, кто-то вошел. Но я догадалась, что Стар сам нажал скрытую кнопку.

Минуту эту, когда мисс Дулан возникла позади меня со своим блокнотом, я всегда буду считать концом детства. Девочкой боготворишь кого-нибудь и без конца вырезаешь его снимки из журналов. Именно так боготворила я эти глаза, что, блеснув на тебя тонким пониманием, тут же ускользают, уходят опять в свои десять тысяч замыслов и планов; это широколобое лицо, стареющее изнутри, так что на нем не морщины случайных житейских тревог и досад, а бледность самоотрешения, печать молчаливой борьбы и нацеленности — или долгой болезни. Для меня этот бледный огонь был красивей всех румяных загаров со всех океанских пляжей. Стар был моим героем — фотоснимком, вклеенным в девчоночий школьный шкафчик. Так я и сказала Уайли Уайту, а уж если девушка признается своему «номеру второму» в любви к «номеру первому», — значит, она любит не шутя.

Я ее заметила задолго до того, как Стар явился на бал. Она была не из смазливых, которых в Голливуде пруд пруди, — одна смазливенькая хороша, а вместе взятые они просто статистики. И не из профессиональных писанных красавиц — те забирают себе весь окружающий воздух, так что даже мужчинам приходится отлучаться от них подышать... Просто девушка с кожей, как у ангела в углу картины Рафаэля, и стильная настолько, что поневоле оглянешься — платье на ней, что ли, особенное?

Она сидела в глубине, за колоннами. Я заметила ее и сразу же отвлеклась. Украшением их длинного стола была поблекшая полужвезда; в надежде, что ее заметят и дадут эпизодическую роль, поблекшая то и дело шла танцевать с каким-нибудь чучелом мужского пола. Я вспомнила с тайным стыдом свой первый бал, — как мама без конца заставляла меня танцевать с одним и тем же парнем — держала в центре общего внимания.

Полужвезда все заговаривала с нашим столом, но безуспешно, ибо мы усердно изображали отгороженную киноэлиту.

У «неэлитных» вокруг был, по-моему, какой-то ущербленно-ожидательный вид.

— Они ожидают от вас швыряния деньгами, как в былые времена, — пояснил Уайли. — А не видя и намека на былое, они удручены. Отсюда и эта их мужественная хмурость. Держаться под хемингуэевских персонажей — единственный способ для них сохранить самоуважение. Но подспудно они на вас злобятся унылой злобой, и вы это знаете.

Он прав — я знала, что с 1933 года богатым бывает весело только в своем замкнутом кругу.

Я увидела, как Стар появился у входа в зал, встал на широких ступенях в неярком свете, сунул руки в карманы, огляделся. Было поздно, и огни зала как бы уже пригасли. Эстрада кончилась, только человек с афишей на спине танцевал еще среди пар. Афиша призывала в Голливудскую Чашу — там в полночь Соня Хени будет плавить лед своими хениальными коньками, — и юмор афиши все бледнел и бледнел. Будь этот бал несколько лет назад, многие уже перепились бы. Полужвезда из-за плеча партнера высматривала пьяных. Потеряв надежду,

она пошла к своему столу, я проводила ее взглядом, и — там стоял Стар и разговаривал с той девушкой. Они улыбались друг другу, точно на радостной заре сотворенья мира.

Этой встречи здесь он никак не ожидал. Просмотр в Глендейле не оправдал надежд, и он распек Жака Ла Борвица прямо у кинотеатра, о чем сожалел теперь. Войдя в зал, он направился было к нашей компании, как вдруг увидел Кэтлин — одну в центре длинного белого стола.

Мгновенно все преобразилось. Люди отодвинулись, уплощаясь, становясь настенными изображениями; белый стол раздался вширь, обратился в престол алтаря, где восседала в одиночестве жрица. Он подошел; кровь струилась горячо по жилам; он все стоял и стоял бы так, глядя на нее и улыбаясь.

Соседи Кэтлин по столу медленно возвращались в поле зрения. Кэтлин встала танцевать с ним.

Она приблизилась — ее облики, прежние и нынешний, сливались в один зыбкий, нереальный. Обычно лоб, виски, скулы, увиденные вплотную, разбивают эту нереальность — но не теперь. Стар вел девушку вдоль зала, а фантастика все длилась. Дотанцевав до дальней кромки, до зеркал, они перешагнули в Зазеркалье, в другой танец, где лица танцоров были знакомы, но не мешали. И здесь он заговорил горячо и быстро.

— Как вас зовут?

— Кэтлин Мур.

— Кэтлин Мур, — повторил он.

— А телефона у меня нет.

— Когда же вы придете на студию?

— Я не могу. Правда.

— Но отчего же? Муж не позволяет?

— Да нет.

— У вас нет мужа?

— Нет и не было. Но, возможно, будет.

— Кто он? Сидит там за столом?

— Нет. — Она засмеялась. — Какой вы любопытный.

Но она сама была взволнована, как ни пыталась отшутиться. Ее глаза звали в поэтическую страсть огромного накала. Как бы опомнясь, она сказала испуганно:

— Я должна вас покинуть. Я этот танец обещала.

— Я не хочу вас терять. Встретимся завтра — днем? Вечером?

— Это невозможно. — Но лицо Кэтлин ничего не могло с собой поделать; на нем читалось: «А все-таки еще возможно. Дверь приоткрыта, протискивайтесь. Но быстрее — сейчас захлопнется».

— Я должна вас покинуть, — повторила она вслух. Опустила руки, прекратила танец, взглянула лукаво и ветрено.

— Когда я с вами, у меня отчего-то спирает дыхание, — сказала она смеясь. Повернулась и, подхватив свое длинное платье, вышла из Зазеркалья. Стар проводил ее.

— Благодарю за танец, — сказала она. — А теперь — прощайте.

И чуть не бегом ушла за стол.

Стар присоединился к нашей компании, к элите отборной и сборной — с Уолл-стрита, с Грэнд-стрита, из виргинского захолустья, а также из Одессы. Все с воодушевлением говорили о лошади, отличившейся на бегах, и мистер Маркус говорил воодушевленной всех. Для еврея страсть к лошадям — это символ, подумалось Стару. Издавна ведь было: казак — конный, еврей — пеший. А теперь и у еврея лошади, и это наполняет его чувством необычайного благополучия и силы. Стар сидел, делая вид, что слушает, и кивая подтверждающе, а сам не спускал глаз со стола за колоннами. Если бы все не происходило так естественно, включая путаницу с поясом, то он бы заподозрил тонкую инсценировку. Но поведение Кэтлин невозможно подделать. Вот и сейчас она опять ускользает — по кивкам и жестам видно, что прощается с соседями. Уходит, ушла.

— Вот и убежала Золушка, — сказал Уайли Уайт злорадно. — А с тужелькой просят адресоваться в фирму «Королевская обувь». Южный Бродвей, 812.

Стар догнал ее в длинном верхнем холле, где за бархатным канатом сидели пожилые контролерши, охраняя вход в бальный зал.

— Это вы из-за меня? — спросил он.

— Мне так или иначе нужно уйти. — Но тут же она добавила почти сердито: — Послушать их, так я с самим принцем Уэльским протанцевала. Стали на меня пялить глаза. Один предложил написать мой портрет, другой просил завтра с ним встретиться.

— Вот об этом-то и я прошу, — негромко сказал Стар. — Но только мне это гораздо важнее, чем ему.

— Вы такой настойчивый, — сказала она устало. — Я уехала из Англии отчасти потому, что там мужчины всегда стремятся поставить на своем. Я думала, здесь по-другому. Разве недостаточно того, что я не хочу встречи?

— Вполне достаточно, — согласился Стар. — Но поверьте, случай необычный. У меня словно почва ушла из-под ног. Я как дурак сейчас. Я должен вас увидеть снова, говорить с вами.

— Зачем же вам быть «как дурак»? — сказала она, видимо колеблясь — Вам не к лицу. Взгляните трезво.

— И что же я увижу?

— Что вы ослеплены мной. Сражены наповал.

— Но я уж и не помнил вас — пока не вошел, не увидел вас здесь.

— Сердцем вы меня помнили. Я с первой встречи поняла: вы из тех, кому я западаю в сердце..

Она замолчала — из зала вышли двое и стали прощаться. «Передайте ей привет, скажите, что я ужасно люблю ее, — говорила женщина. — Обоих вас люблю — детей, всю вашу семью».

Таковыми общими, затертыми словами Стар говорить не мог, а других не находилось. Идя к лифту, он произнес:

— Да, вы именно запали в сердце.

— Ага, признаете свое ослепление?

— Нет, это глубже, — покачал он головой — Это весь ваш образ. Ваши слова — походка ваша — ваш вид и взгляд сейчас... — Он увидел, что лицо ее смягчилось, и воспрянул духом. — Завтра воскресенье, я обычно работаю по воскресеньям, но если бы вы пожелали увидеть что-нибудь в Голливуде, познакомьтесь с кем-нибудь, я счастлив был бы исполнить ваше желание.

Они стояли у лифта. Дверцы раздвинулись, но Кэтлин не вошла в кабину.

— Вы очень скромны, — сказала она. — Вы все хотите показать мне студию, познакомить с чем-нибудь и кем-нибудь. А вам не тоскливо так стусевываться самому?

— Без вас завтра мне будет очень тоскливо.

— Бедняжка — прямо до слез жалко. Все звезды рады бы скакать вокруг него на задних лапках, а он выбирает меня.

Он улыбнулся — что прикажешь на это ответить? Опять подошел лифт. Она сделала лифтеру знак, что войдет.

— Я слабая женщина, — сказала она. — Если я встречу с вами завтра, оставите ли вы меня в покое? Нет, не оставите. Настойчивость лишь возрастет. И выйдет не лучше, а хуже. Поэтому я скажу так: «Благодарю вас — нет».

Она вошла в лифт. Стар тоже вошел, и они, улыбаясь друг другу, спустились с третьего этажа в вестибюль. В дальнем конце у входа, за ларьками и лотками, виднелись головы и плечи толпы кинозвезд, сдерживаемых полицией. Кэтлин поежилась.

— Когда я входила сюда, они все глядели так странно — точно негодовали на меня, что я не знаменитость.

— Тут есть боковой выход, — сказал Стар. Они прошли через кафе и коридором вышли к автомобильной стоянке — в прохладную безоблачную калифорнийскую ночь. Для обоих бал уже остался далеко позади.

— Здесь раньше жило много известных киноактеров, — сказал он. — Вон в тех виллах — Джон Барримор и Пола Негри. А в высоком узком доме через дорогу — Конни Толмедж.

— А теперь не живут?

— Студии перебрались за город, на природу. То есть теперь там тоже город. А когда-то и тут было хорошо, есть что вспомнить.

Он умолчал о том, что именно вспомнилось: десять лет назад здесь, по соседству с Конни Толмедж, жила Минна с матерью.

— Сколько вам лет? — спросила Кэтлин неожиданно.

— Я уж и не считаю — скоро тридцать пять, что ли.

— За столом вас называли «чудо-мальчиком Голливуда».

— Я и в шестьдесят все буду чудо-мальчик, — сказал Стар сумрачно. — Так встретимся завтра, прошу вас.

— Встретимся, — сказала она. — А где? Оказалось, что угодить ей непросто. Она не хотела ни в гости, ни за город, ни в фешенебельный ресторан; поколебавшись, отвергла и пляж. Стар понимал — отказы эти небеспричинны. Со временем он выяснит. Быть может, она дочь или сестра какой-либо знаменитости, и с нее взяли слово держаться в тени.

— Я заеду за вами, — предложил он, — а уж там решим.

— Нет, заезжать не надо. Давайте прямо здесь — на этом самом месте.

Стар кивнул, указав на арку над головой, как на ориентир.

Он усадил Кэтлин в ее машину, за которую всякий добросердечный агент по продаже подержанных автомобилей отвалил бы долларов восемьдесят; драндулет скрылся, дребезжа. С парадного входа донеслись возгласы — толпа приветствовала кого-то из кумиров. «Надо бы подняться в зал и проститься», — подумал Стар.

Продолжаю от первого лица. Стар наконец вернулся — была уже половина четвертого — и пригласил меня танцевать.

— Как поживаете, Сесилия? — сказал он, точно я не приходила к нему утром. — А у меня сейчас длинный разговор был с одним приятелем.

(Скрывает, что провожал ту девушку — настолько это, значит, важно для него!)

— Прокатил его по городу, — продолжал Стар наивно сочинять. — Я и не замечал, как сильно изменился этот район Голливуда.

— Неужели сильно?

— О да, — сказал Стар. — Полностью. До неузнаваемости. Мне трудно выразить это детальней, но все переменялось — все. Совсем новый город. — Помолчав, он усилил мысль: — Я и не отдавал себе отчета, что город так переменялся.

— А кто был ваш собеседник? — копнула я.

— Старый приятель, — туманно ответил он. — Давнишний.

По моей просьбе Уайли втихомолку выяснял уже, кто она такая. Он подошел к их столу, и бывшая кинозвезда обрадовалась, усадила его рядом. Нет, кто эта девушка, она не знает, — подруга чьей-то подруги, а больше о ней никому ничего не известно.

Так танцевала я со Старом под прелестную мелодию Глена Миллера «Я на качелях». Просторно было, хорошо было танцевать теперь. Но меня брала тоска еще сильнее, чем раньше. Точно с той девушкой ушло все волнение вечера и для Стара и для меня — ушла моя пронзительная боль, зал опустел и поскукнел. Пусто было на душе, я танцевала с партнером, рассеянно повторявшим мне, что город сильно изменился.

Назавтра, во второй половине дня, они встретились — двое незнакомых в незнакомой стране. Где ночь бала, где та девушка, с которой он танцевал? По бульвару приближалась к нему дымчато-розово-голубая шляпка с легкой вуалеткой. Остановилась, вглядываясь в лицо

Стара. Он тоже другой — в коричневом костюме, черном галстуке он стал четче, осязаемей, чем в смокинге вчера или чем в первую их встречу, когда было лишь его лицо и голос из темноты.

Он первый признал в ней ту, прежнюю, — по светлому лбу Минны и глазам, по млечной белизне висков, по переливчатой прохладе волнистых темно-каштановых волос. Обнять бы ее запросто рукой, притянуть к себе привычно, по-семейному — настолько ведь знакомо это дыхание, уголки глаз, пушок на шее сзади и линия спины, сама даже ткань платья заранее знакома его пальцам.

— Вы так и прождали здесь с ночи? — сказала она голосом, легким, как шепот.

— Я не двигался, не шевелился. Но оставалось еще нерешенное — куда же все-таки ехать?

— Я бы чаю выпила — если найдется здесь такое место, где вас не знают.

— Звучит так, точно у одного из нас худая слава.

— А и в самом деле, — засмеялась она.

— Поедем на взморье, — предложил Стар. — Я там заглянул как-то в ресторан, но меня прогнал дрессированный морской лев.

— Он и чай умеет подавать?

— Вероятно, научен. А разболтать о нас вряд ли сумеет — не настолько далеко зашла его ученость. Да и что вы такое скрываете?

Она помолчала...

— Возможно, скрываю свое будущее, — сказала шутливо, и это могло значить что угодно, а могло и ничего не значить.

Они сели в машину, покатали.

— А не угонят? — кивнула Кэтлин на свой драндулет, оставшийся на стоянке.

— Могут и угнать. Тут, я заметил, шныряли какие-то чернобородые иностранцы.

Кэтлин обеспокоенно взглянула на него:

— Правда? — И увидела, что он улыбается.

— Я верю всякому вашему слову, — сказала она. — У вас такая мягкая манера — не понимаю, почему все они так вас боятся. — Она оглядела Стара одобрительно и чуть озабоченно: его бледность была в ярком свете дня особенно заметна. — Вы очень перегружены работой? Даже по воскресеньям не отдыхаете?

— Раньше, бывало, отдыхал, — ответил он, чувствуя, что интерес ее не напускной, хотя и «сторонний». — Прежде у нас было... был дом с бассейном, садом, кортами, и в воскресенье приходили гости. Я играл в теннис, плавал. Теперь оставил плаванье.

— А почему? Вам бы это было полезно. Я считала, все американцы — рьяные любители плавания.

— Года три назад у меня ноги резко похудели — до неловкости. Хватало, впрочем, и других спортивных развлечений: я с детства играл в хэндбол, и у меня тут был закрытый корт, но стенки снесло во время шторма.

— Вы хорошо сложены, — похвалила она, имея в виду только то, что худощавость его не лишена изящества.

Он мотнул головой — отмахнулся от комплимента.

— Работа — вот мой спорт и развлечение, — сказал он. — Мне очень по душе моя работа.

— Вы всегда мечтали делать фильмы?

— Нет. В юности я мечтал стать в конторе главным клерком, который досконально знает, где что.

Она улыбнулась.

— Забавно. Ведь вы достигли гораздо большего.

— Нет, я и теперь главный клерк, — сказал Стар. — Если в чем мой талант, то именно в этом. Но, вступив в должность, я обнаружил, что никто не знает досконально, где что. И при

этом надо знать не только, где что лежит, но и почему оно там, и не надо ли его переложить. На меня все начали наваливать — сложнейшая оказалась должность. Вскоре мне передали все ключи. И, верни я их сейчас, никто уже не знал бы, от какого замка какой ключ.

Красный свет остановил машину, и мальчишка-газетчик проблеял:

— Звездская расправа с Микки Маусом! Рэ-эндольф Херст объявил войну Китаю!

— Придется нам купить эту газету, — сказала она.

Машина тронулась. Поправляя шляпку, охорашиваясь, Кэтлин заметила на себе взгляд Стара и улыбнулась.

Она была бодра и собранна — а эти качества сейчас в большой цене. Апатии вокруг хоть отбавляй — в Калифорнию густо стекается вялый и хищный сброд. Да издерганная молодежь из восточных штатов, мысли которой все еще на Востоке, а тело ведет безнадежную борьбу с расслабляющим климатом. Ни для кого не секрет, как трудно здесь дается длительное, ровное рабочее усилие. Стар хотя и не делал на это скидку, но знал, что из новоприбывших поначалу бьет чистый родничок энергии.

Им было хорошо сейчас вдвоем. Он не заметил в Кэтлин ни штриха, ни жеста, который вступил бы в разлад с ее красотой, исказил бы рисунок. Все в ней было стройно и согласно. Стар давал ей оценку, словно кадру фильма. В ней нет ни халтуры, ни мути, она — славная; на языке Стара слово это означало ясную уравновешенность, тонкость и соразмерность.

Въехали в Санта-Монику, где красовались виллы десятка кинозвезд, а вокруг кишел народом лос-анджелесский Кони-Айленд. Повернули вниз, к широкому синему морю и небу, поехали берегом, и вот наконец взморье выскользнуло из-под купальщиков и легло свободной желтой расширяющейся и сужающейся полосой.

— Я дом себе строю, — сказал Стар. — На мысу там, дальше. А зачем строю, не знаю.

— Быть может, для меня строите.

— Быть может.

— Какой же вы милый — еще и не видав меня ни разу, воздвигаете для меня дворец.

— Он не дворец. И без крыши. Я не знал, какая крыша будет вам по вкусу.

— Нам крыша не нужна. Мне говорили, тут дожди — редкость. Можно и без... — Она оборвала фразу, и он понял — что-то ей вспомнилось.

— Прошрое мелькнуло, — проговорила она.

— Что же именно? — спросил он. — Тоже дом без крыши?

— Да. Тоже дом без крыши.

— И вы жили в нем счастливо?

— Я с одним человеком жила. Долго-долго. Слишком долго. Одна из ужасных ошибок, какие случаются в жизни. Я уже давно хотела уйти, а он все не пускал меня. Отпускал и не мог отпустить. И в конце концов я сбежала.

Стар слушал, взвешивая, но не осуждая. Ничто не потускнело под розово-голубой шляпкой. Ей двадцать пять или около того. И красота ее пропадала бы зря эти годы, если бы она не любила, не была любима.

— Слишком уж тесной была наша близость, — говорила она. — Нам бы, наверно, дети помогли — раздвинули бы нас слегка. Но куда тут детей, если у дома нет крыши.

Что ж, вот он и узнал о ней хоть немного. А то вчера бубнило в голове, как на сценарном совещании: «Мы ничего не знаем о героине. Много нам не требуется — но хоть что-то надо же знать». Теперь за ней начал обрисовываться фон повещественней, чем голова Шивы в лунном свете.

Остановились у ресторана, среди неприятного воскресного скопления автомобилей. Вышли из «родстера», и ученый морской лев заворчал на Стара припоминаяще. Этот ластоногий зверюга, по словам его хозяина, в машине ни за что не желал ехать на заднем сиденье, непременно перекарабкивался на переднее. Было ясно, что хозяин закабален зверем, хотя и не осознал еще своего рабства.

— Я бы хотела взглянуть на дом, который вы строите, — сказала Кэтлин. — А чаю не хочу. Чай — прошлое.

Вместо чаю она выпила кока-колы, и поехали дальше. В глаза так ярко било солнце, что Стар вынул из ящичка на приборном щитке две пары защитных очков. Миль через пятнадцать свернули на небольшой мыс и подъехали к остову дома.

Солнечный ветер, дувший в лицо, гнал на скалы волну, обдавал машину брызгами. Бетономешалка, щебень, желтые грубые доски лесов — все это зияло раной среди морского пейзажа и ждало, чтобы воскресенье кончилось. Стар с Кэтлин обошли дом; каменные глыбы торчали у фасада, готовясь подпирать террасу.

Кэтлин поглядела на чахлые холмы вдали, слегка передернулась от сухого блеска, и Стар это заметил...

— Ландшафт, конечно, голый, но не беда, — ободрил он. — Представьте, что стоите на громадном глобусе. Я в детстве мечтал о таком глобусе.

— Я понимаю, — отозвалась Кэтлин после паузы. — Стоишь и чувствуешь, как земля вертится. Он кивнул.

— Да. А остальное все тапапа — ожиданье сказочного завтра и лунных чудес.

Они прошли под леса, в дом. Одна из комнат, большая гостиная, была уже закончена вплоть до встроенных шкафов, гардинных карнизов и гнезда в полу для проекционного аппарата. Комната выходила на веранду, и Кэтлин удивилась, увидев там расставленные мягкие кресла и стол для пинг-понга. Второй такой же стол стоял на свеженастланном зеленом дерне перед верандой.

— Я неделю назад устроил пробный завтрак, — сказал Стар. — Из реквизиторского привезли мебель, траву. Хотел проверить, как здесь дышится.

— Трава, значит, бутафорская! — рассмеялась Кэтлин.

— Зачем же — самая настоящая.

За пробным газоном была яма для плавательного бассейна, где хлопотала сейчас стая чаек; при виде людей чайки улетели.

— И вы будете здесь жить совсем один? — спросила она. — Даже без развлекательниц из ансамбля «герлс»?

— Пожалуй, без. Я уже бросил строить радужные планы. Просто решил, что тут неплохо будет читать сценарии. А настоящий мой дом — студия.

— Да, я слышала, у деловых американцев бывает такой взгляд на жизнь.

Он уловил критическую нотку в ее голосе.

— Кто уж для чего рожден, — сказал он мягко. — Меня примерно раз в месяц кто-нибудь принимается обращать на путь истины, пугать одиночеством в немогущей старости. Но не так все это просто.

Ветер свежел. Пора было ехать, и Стар рассеянно побрякивал автомобильными ключами, вынутыми из кармана. Откуда-то из солнечного марева донеслось серебристое «ау» телефона. Но не из дома — и, ловя звук, они забегали по участку, как дети, играющие в «холодно — горячо», и оба одновременно вбежали в рабочую времянку у теннисного корта. Телефону уже надоело звонить, он лаял на них со стены, как собака на чужих.

— Стоит ли брать трубку? — заколебался Стар. — Пусть себе тарыхтит.

— Я бы взяла. Ведь мало ли кто может оказаться?

— Кого-нибудь другого, наверно, ищут или наобум звонят.

Он взял трубку.

— Алло... Междугородный — откуда? Да, Стар слушает.

Вся его манера заметно изменилась. Кэтлин увидела Стара уважительно-взволнованного, а это за последний десяток лет случалось нечасто. Правда, Стар привык, слушая, принимать учтивый и заинтересованный вид, но сейчас он как бы помолодел вдруг.

— Звонит президент, — сказал он как-то напряженно.

— Вашей компании?

— Нет, Соединенных Штатов. Он постарался произнести это небрежным тоном, но в голосе сквозило волнение.

— Хорошо, я подожду, — сказал он в трубку и пояснил глядящей на него Кэтлин: — Мне уже приходилось говорить с ним.

Он улыбнулся ей и подмигнул в знак того, что, хотя разговор потребует сейчас всего внимания, она отнюдь не забыта.

— Алло, — сказал он после паузы. Прислушался. Опять сказал: — Алло. — Нахмурился.

— Нельзя ли чуть погромче, — попросил он учтиво и затем: — Кто?.. Что еще такое?

Кэтлин увидела, что он раздраженно поморщился.

— Я не хочу говорить с ним, — сказал он в трубку. — Нет.

Он повернулся к Кэтлин:

— Представьте, там у телефона орангутанг.

Стару пространно стали что-то объяснять; он выслушал и повторил:

— Я не хочу говорить с ним, Лу. Мне нечем заинтересовать орангутанга.

Стар жестом подозвал Кэтлин к телефону и слегка отнял трубку от уха, так что и она услышала шумное дыхание и сиплое бурчание. Затем голос:

— Это не липа, Монро. Он умеет говорить и как две капли воды похож на президента Мак-Кинли. Тут рядом со мной мистер Хорас Уикершем, у него в руках снимок Мак-Кинли...

Стар терпеливо слушал.

— У нас ведь есть шимпанзе, — сказал он, дослушав. — В прошлом году наш шимпанзе отхватил зубами солидный кусок от Джона Гилберта... Ну ладно, дай его опять. Алло, орангутанг, — сказал он отдельно, точно ребенку. И с удивленным лицом повернулся к Кэтлин: — Оранг ответил мне: «Алло».

— Спросите, как его зовут, — подсказала Кэтлин.

— Алло, оранг, — вот так игра природы! — а как тебя зовут?.. Молчит, не знает, как зовут... Послушай, Лу. Мы сейчас не ставим ничего в духе «Кинг-Конга», а в «Косматой обезьяне» орангутангов нет... Разумеется, уверен. Не обижайся, Лу, до свидания.

Ему было досадно — он совсем было настроился на важный разговор, выказал даже волнение и чувствовал себя теперь слегка смешным перед Кэтлин. Но она лишь огорчилась за Стара, и тем милее сделался он ей, что разговаривал не с президентом, а с орангутангом.

Они поехали вдоль берега обратно, под солнцем, бьющим теперь в спину. Дом, точно повеселев от их приезда, на прощанье выглядел уже приветливей, и жесткий блеск вокруг стал выносимей теперь, когда уезжали, когда оказались не прикованы к этой лунной слепящей поверхности. На повороте оглянулись — небо начинало розоветь за недочерченным контуром постройки, и мыс казался радушным островком, сулил в будущем приятные часы.

Проехав Малибу с его яркими домиками и рыбачьими баркасами, они вернулись в сферу обитания горожан: у дороги теснились машины, чуть не громоздясь друг на друга, и пляжи были как бесформенные муравейники — только чернели несчетные мокрые макушки на глади моря,

Все гуще мелькало городское — одеяла, циновки, зонты, спиртовки, набитые одеждой сумки; это узники разложили свои узлы на пляжном песке. Море ждало Стара — пожелай он лишь найди применение синей шири, — а куда разрешалось этим прочим мочить свои ноги и ладони в прохладных вольных водоемах творческого мира.

Стар свернул с береговой дороги в каньон, поднялся на холмы, и пляжники остались позади. Въехав в предместье, они остановились у бензоколонки.

— Едем теперь обедать, — сказал Стар почти просяще, стоя у машины.

— Вас ведь ждет работа.

— Нет, на вечер у меня никаких планов. Он чувствовал, что и у нее вечер свободен, спешить ей некуда.

Она предложила компромисс:

— Хотите, зайдём вон в ту закусочную? Он поглядел туда с сомнением.

— Вы это всерьез?

— Мне нравятся ваши американские полуапки, полузакусочные. Мне в них непривычно так и странно.

Сидя на высоких табуретках, они ели томатный суп и горячие сэндвичи. Это сближало больше, чем все предыдущее, и опасно обостряло тоску одиночества — они ощущали ее в себе и друг в друге. Вдвоем они дышали пестрыми запахами помещения, горькими, сладкими, кислыми, вдвоем вникали в тайну подавальщицы, у которой вершки волос были светлые, а корешки черные. Вдвоем созерцали потом натюрморт опустевших тарелок — ломтик маринованного огурца, картофеля, косточку маслины.

На улице уже смеркалось, и в машине было так естественно дарить ему улыбку.

— Огромное вам спасибо. Я чудесно прокатилась. Дом ее был уже неподалеку. Вот начался подъем, и мотор на второй передаче заурчал гуще, возвещая приближение конца. В бунгало, карабкавшихся на холмы, горел свет; Стар включил фары. У него сиротливо тяжелело под ложечкой.

— Давайте условимся о новой поездке.

— Нет, — поспешно сказала она, точно ждала этих слов. — Я напишу вам письмо. Прошу прощения за все мои таинственные недомолвки, но я прибежала к ним именно потому, что вы мне так приятны. Вам бы надо меньше загружать себя работой. И надо бы снова жениться.

— Ну зачем вы об этом, — запротестовал Стар — Сегодня все в сторону, сегодня мы вдвоем. Для вас это пустяк, быть может, а для меня — важнее важного. Но мне бы не хотелось комкать разговор.

Не комкать — значило продолжить у нее дома, потому что они уже подъехали к крыльцу, — и она покачала головой.

— Простимся. Я жду гостей. Я вам забыла сказать.

— Никого вы не ждете. Но что поделаешь. Он проводил ее до дверей и стал там же — след в след, — где стоял в тот вечер. Она поискала ключ в сумочке

— Нашли?

— Нашла, — сказала она. Оставалось войти, но ее тянуло на прощанье взглянуть в него еще раз, и она повела головой налево, затем направо, ловя его черты в последнем сумеречном свете. Она промедлила, и само собою вышло так, что его рука коснулась ее плеча и привлекла к себе, в темноту галстука и горла. Закрыв глаза, сжав пальцы на зубчиках ключа, она слабо выдохнула «Ах», и снова «Ах», он притянул ее, подбородком мягко поворачивая к себе щеку, губы. Оба они улыбались чуть-чуть, а она и хмурилась тоже — в тот миг, когда последний дюйм расстояния исчез.

Когда же она отстранилась, то покачала опять головой, но скорее в знак удивления, чем отказа. Значит, вот к чему пришло, и сама виновата, где-то уже в прошлом виновата, но где же именно? Вот к чему пришло, и теперь ей с каждым мгновением невообразимей, тяжелей было оборвать сближенье. Он торжествовал; она сердилась, не виня его, однако; но не могла же она стать участницей мужского торжества, ведь это означало поражение. В нынешнем своем виде это — поражение. А затем она подумала, что если прекратить, прервать, уйти в дом, то поражение уничтожится, но не станет оттого победой.

— Я не хотела, — сказала она. — Совсем не хотела.

— Можно мне войти?

— О нет, нет.

— Тогда — в машину и едем куда-нибудь.

С облегчением она ухватила за это «едем» — именно так, куда-нибудь, сейчас же прочь отсюда, — в этом уже был некий оттенок победы, как в бегстве с места преступления. И вот они в машине, едут под гору, и в лицо ей — прохладный легкий ветер, постепенно приводящий в себя. Все обозначилось четко, как черным по белому.

— Едем опять на взморье, к вам домой, — сказала она.

— Опять туда?

— Да, опять туда. И не надо слов. Я хочу просто — ехать.

Когда снова спустились к океану, небо покрывали облака, и у Санта-Моники машину обдало дождем. Свернув на обочину, Стар надел плащ, поднял парусиновый верх «родстера».

— Вот и крыша у нас есть, — сказал он.

«Дворники» пощелкивали на ветровом стекле уютно, как маятник высоких старинных часов. С мокрых пляжей снимались, возвращались в город хмурые автомобили. Потом «родстер» окунулся в густой туман, обочины зыбко расплылись, а фары встречных машин стояли, казалось, на месте — и вдруг ослепляюще мелькали мимо.

Оставив церемонную частицу себя позади, они чувствовали сейчас легкость и свободу. В щелку тянуло туманом; Кэтлин спокойным, неспешным, будоражащим Стара жестом сняла шляпку, положила на заднее сиденье, под брезент. Рассыпала по плечам волосы и, заметив на себе взгляд Стара, улыбнулась.

На левой, океанской, стороне размытым световым пятном прошел ресторан ученого морского льва. Стар опустил стекло, стал выглядывать, ища ориентиры; но через несколько миль туман рассеялся, и прямо перед ними оказался поворот к дому. В облаках забелела луна. По океану еще скользили отсветы заката.

Дом как бы подтаял слегка, — возвращаясь в изначальные песок и воду. Отыскав дверной проем, они прошли под каплющие брусья и ошупью, сквозь непонятные, в полчеловеческого роста, преграды, пробрались в единственную уже готовую комнату; там пахло опилками и мокрым деревом. Он обнял ее, в полумраке им видны были только глаза друг друга. Плащ лег на пол.

— Погоди, — сказала она.

Ей надо было минуту подумать. Происходящее было радостно и желанно ей, но не сулило ничего затем, и надо было вдуматься, отшагнуть на час назад, осмыслить. Она стояла, поводя головой влево-вправо, как раньше, но медленнее и неотрывно глядя ему в глаза. Она ощутила вдруг, что он дрожит.

Он ощутил это и сам и ослабил объятие. И тут же, с грубо-призывными словами, она притянула его лицо к своему. Затем, одной рукой обнимая его, движением другой руки и коленей скинула с себя что-то и отбросила ногою. Теперь он уже не дрожал, снова обнял ее, и вместе они опустились на плащ.

Потом они лежали молча, и он наполнился вдруг такой любовью, нежностью к ней, обнял так крепко, что треснуло платье по шву. Слабый этот звук заставил их очнуться.

— Вставай, — ласково сказал он, беря её за руки.

— Нет еще. Я думаю.

Она лежала в темноте, и, забыв благоразумие, думала о том, какой у них получится неугомонный, умненький ребенок. Но затем протянула руки, он поднял ее... Когда она вернулась, в комнате уже горела электрическая лампочка.

— Освещение одноламповое, — сказал Стар. — Выключить?

— Нет. Пусть — хорошо. Я хочу тебя видеть. Они сели на широкий подоконник — друг против друга, соприкасаясь подошвами.

— Ты словно далеко, — сказала она.

— И ты тоже.

— А тебя не удивляет?

— Что?

— Что нас снова двое. Ведь грезится, верится, что слились в одно, а очнешься — по-прежнему двое.

— Ты мне страшно близка.

— Ты мне — тоже.

— Спасибо.

— Тебе спасибо.

Оба засмеялись.

— Ты этого хотел — на балу вчера?

— Неосознанно — да.

— Когда же это у нас решилось? — сказала она, размышляя вслух. — Сначала кажется не нужно, незачем, а потом наступает минута, и чувствуешь — ничто на свете уже не властно остановить.

Это прозвучало многоопытно, однако пришлось ему до удивления по душе, под настроение. Он страстно желал вернуть прошлое — вернуть, но не повторить, — и такой она ему еще сильнее нравилась.

— Во мне есть черты шлюхи, — сказала она, угадав его мысли. — Черты Эдны. Наверно, этим и была мне Эдна неприятна.

— Какая Эдна?

— Которую ты спутал со мной. Звонил которой. Она жила через дорогу, а сейчас переехала в Санта-Барбару.

— А разве она шлюха?

— Профессиональная. Она из этой американской вашей «обслуги по вызову».

— Вот как?

— Будь Эдна англичанкой, я бы разгадала ее сразу. А так мне казалось, обычная здешняя девушка. Она мне только на прощанье открылась.

Кэтлин зябко вздрогнула, и он встал, накинул плащ ей на плечи. Открыл стенной шкаф, оттуда вывалилась грудa подушек и пляжный матрац. Нашлась и коробка свечей, он зажег их во всех углах комнаты, а вместо лампы включил электрокамин.

— Почему же она меня боялась? — спросил он неожиданно.

— Потому что ты голливудец. У нее или у подруги ее случилось что-то мерзкое с одним киношником. К тому же она, по-моему, до крайности глупа.

— А как вы с ней познакомились?

— Она зашла по-соседски. Возможно, сочла, что мы с ней сестры по профессии. Она была очень мила. Все упрашивала звать ее попросту Эдной, и мы стали на «ты», подружились. Кэтлин привстала — он усталал подоконник подушками.

— Дай помогу. Не хочу быть тунеядкой.

— Ну вот еще. — Он обнял ее. — Сиди тихо. Согрейся.

Посидели без слов.

— Я знаю, чем я тебя сразу привлекла. Эдна мне сказала.

— Что сказала?

— Что я похожа — на Минну Дэвис. Мне и другие говорили.

Он поглядел, отклонившись назад, и кивнул.

— Сходство здесь. — Она надавила пальцами себе на скулы, слегка меняя очертания щек. — Здесь и здесь.

— Да, — сказал Стар. — Меня ошеломило твое сходство с нею — не с экранной, а с живой.

Кэтлин встала, точно уходя от этой темы, точно боясь ее.

— Я уже согрелась, — сказала она. Подошла к шкафу, заглянула в глубину его и вернулась в передничке со звездчатым снежным узором на ткани. Оглядела комнату критически.

— Конечно, мы только что вселились, — сказала она, — и здесь еще по-нежилому гулко.

Отворила на веранду дверь, взяла оттуда два плетеных стула, смахнула с них дождевые капли. Он следил за ней взглядом, все еще побаиваясь, что откроются какие-то изъяны и чары рассеются. Оценивая женщин в пробных кадрах, он не раз видел, как прекрасная статуя начинала двигаться на убогих кукольных шарнирах и с каждой секундой таяла красота. Но движения Кэтлин были упруги и уверенны, а хрупкость была — как и следовало — лишь кажущейся.

— Дождя уже нет, — сказала она. — В день моего приезда лило страшно и шумело так — точно лошади ржали.

— Полюбится тебе и шум ливня, — сказал он со смехом, — раз уж ты теперь калифорнийка. Ты ведь не уезжаешь? Сейчас-то можешь рассказать о себе? Что за тайны такие?

— Нет, потом, — покачала она головой. — Не стоит и рассказывать.

— Тогда иди ко мне.

Она подошла и стала рядом, и он прижался щекой к прохладной ткани передника.

— Ты усталый, — сказала она, ероша ему волосы.

— Любить я не устал.

— Я не о том, — поправилась она поспешно. — Я хочу лишь сказать, что от вечной работы можно заболеть.

— Не будь заботливой мамашей, — сказал он. «Будь шлюхой», — добавил он мысленно. Ему хотелось разбить строй своей жизни. Если уж осталось жить недолго, как предупредили оба врача, то хотелось на время перестать быть Старом, одаряющим других, и кинуться вдогонку за любовью, подобно простым безымянным парням на вечерних улицах.

— Ты мой передник снял, — кротко сказала Кэтлин.

— Да.

— А если проедут берегом, увидят? Давай потушим свечи.

— Нет, не туши.

Потом она улыбнулась ему, полуоткинувшись на белую подушку.

— Я себя чувствую Венерой на створке раковины.

— На створке?

— А ты взгляни — ну чем не Боттичелли?

— Не знаю, — сказал он с улыбкой. — Но верю тебе. Она зевнула.

— Мне так хорошо. И я люблю тебя.

— Ты очень знающая, верно?

— То есть?

— В твоих словах видна образованность. И во всем тоне.

Она подумала, сказала:

— Нет, не слишком-то. Высшего образования у меня нет. Но человек, о котором я говорила, был всезнайкой и горел желанием развить меня. Писал мне целые учебные программы, заставлял посещать курсы при Сорбоннском университете, ходить по музеям. Я кое-чего нахваталась.

— А кто он был?

— Художник в некотором роде. И злока. Помимо всего прочего. Хотел, чтобы, я проштудировала Шпенглера — остальное все было на это направлено. История, философия, теория музыки — все было лишь подготовкой к Шпенглеру. Но я сбежала прежде, чем мы добрались до Шпенглера. По-моему, он под конец и не отпускал-то меня в основном из-за Шпенглера.

— А кто такой Шпенглер?

— Говорю же, что мы до него не дошли, — рассмеялась Кэтлин. — А сейчас я очень терпеливо забываю все усвоенное, потому что вряд ли встречу в жизни другого такого ментора.

— Ну зачем же забывать, — возразил укоризненно Стар. Он питал к науке большое уважение — отзвук векового еврейского почтения к синагогальной мудрости. — Забывать не следует.

— Ученье было мне просто заменой детей.

— А потом и детям передашь, — сказал Стар.

— Сумею ли?

— Безусловно, сумеешь. Они усвоят и вырастут знающими. А мне, чуть что, приходится выпрашивать у пьяниц-сценаристов. Знания надо беречь.

— Ладно, — сказала она, вставая — Передам их своим детям. Но это ведь без конца — чем больше узнаешь, тем больше остается непознанного. Чем дальше в лес... Мой ментор мог бы стать кем угодно, не будь он трусом и глупцом.

— Но ты его любила.

— О да — всем сердцем. — Заслонив глаза ладонью, она поглядела в окно. — Там светло. Пойдем на берег.

Он вскочил, воскликнул:

— Да ведь сегодня вечер леурестеса!

— Что-что?

— Сегодня, сейчас. Об этом во всех газетах есть. — Он выбежал к машине, щелкнул дверцей и вернулся с газетой в руках, — Начнется в десять шестнадцать. Через пять минут.

— Что начнется — затмение?

— Нет, приплывет очень пунктуальная рыбешка. Разуйся, и бежим скорей.

Вечер был светлый, синий. Отлив кончился, и серебряные рыбы косяки, колышась на глубине, ждали своего нерестового срока — 10.16. Срок наступил, и через секунду-две рыба вместе с приливом хлынула к берегу и заблестела, затрепыхалась на песке; Стар и Кэтлин босиком брели в ее гуще. Берегом, навстречу им, шел негр с двумя ведрами, он проворно собирал туда леурестесов, точно падалицу. А рыба шла на приступ стайками и стаями, взводами и ротами — упорно, жертвенно и гордо, — обтекая босые людские ножищи потоком, струившимся еще задолго до того, как сэр Франсис Дрейк прикрепил здесь медную дощечку к береговой скале.

— Эх, еще бы ведро мне, — сказал негр, переводя дух.

— Далековато вам пришлось из города ехать за рыбой, — сказал Стар.

— Я раньше в Малибу ездил, но голливудцы не любят пускать на свои пляжи.

Накатила новая волна, отогнала людей и тут же ушла, усеяв песок новым серебром.

— А есть ли вам расчет ездить сюда? — спросил Стар.

— Да я не из расчета езжу. Я читаю здесь на приволье Эмерсона. Вам его приходилось читать?

— Я читала, — сказала Кэтлин. — Некоторые вещи.

— Он у меня тут за пазухой. Я захватил с собой и кой-какую литературу розенкрейцеров, но мне их книжки надоели.

Ветер посвежел, прибой усилился; они шли у его пенящейся кромки.

— Вы кто по профессии? — спросил негр у Стара.

— Я в киноделе занят.

— А-а. — Негр помолчал, затем сказал: — Я не хожу в кино.

— А почему? — резковато спросил Стар.

— Толку никакого. И детей своих не пускаю.

Стар поглядел на него, а Кэтлин — ободряюще — на Стара. Волна обдала их пылью брызг.

— Есть и хорошие картины, — сказала Кэтлин, но негр не слушал.

— Есть и хорошие, — повторила она, готовая спорить, возражать; негр взглянул на нее равнодушно.

— А что, братство розенкрейцеров ратует против кино? — спросил Стар.

— Они сами толком не знают, против чего и за что ратуют. Сегодня за одно, через неделю за другое.

Только рыба знала, за что ратовала. Прошло уже полчаса, а она все прибывала. Негр наполнил оба своих ведра и понес их со взморья на дорогу, — не подозревая даже, что поколебал устои кинопромышленности.

Кэтлин и погрустневший Стар пошли обратно к дому, и, разгоняя его грусть, она сказала:

— Бедняга Самбо.

— Что?

— Разве вы негров не зовете «Самбо»?

— Мы их, собственно, никак не зовем. — И, помолчав, добавил: — У них свое кино.

Кэтлин присела у электрокамина, надела чулки и туфли.

— Мне уже Калифорния нравится, — произнесла она неторопливо. — Видно, я изголодалась по сексу.

— Но ведь у нас не просто секс?

— Ну еще бы.

— Мне славно с тобой, — сказал Стар. Она встала с тихим вздохом — и он не расслышал этого вздоха.

— Я не хочу терять тебя, — сказал Стар. — Не знаю твоих мыслей — и вообще думаешь ли обо мне. Ты сама, наверно, видишь, что Минну мне из сердца не выбросить... — Он запнулся, подумал: «А так ли это?» — Но прелестней тебя я не встречал никого уже много лет. Я налюбоваться не могу. Не знаю даже точно цвета твоих глаз, но утону в них — и жалко делается всех на свете...

— Перестань, не надо! — воскликнула она смеясь. — А то меня не оттащить будет от зеркала. Какой уж там цвет моих глаз — они просто гляделки, и вся я заурядная-презаурядная. Зубы вот только хороши — для англичанки...

— Зубы у тебя великолепные.

— ... но я в подметки не гожусь здешним девушкам...

— Перестань-ка сама, — перебил он. — Я говорю правду — и я привык взвешивать свои слова.

Она постояла минуту, задумавшись. Поглядела на него, затем опять куда-то внутрь себя, затем на него снова — и отогнала мысль.

— Нам надо ехать, — сказала она.

Возвращались они теперь совсем уже другие. Четыре раза проезжали они сегодня этой береговой дорогой, и каждый раз — не те, что прежде. Любопытство, грусть и вожделение остались сейчас позади; это было подлинное возвращение — в себя и во все свое прошлое в будущее, в неотвратимо напирющее завтра. В машине он попросил ее: «Сядь ближе», и она села, но близость не ощутилась, ибо была сейчас не на подъеме, а на спаде. Ничто не стоит неподвижно. Ему хотелось сказать ей: «Едем ночевать ко мне» — в пригородный дом, который он снимал, — но это прозвучало бы сиротливо. Машина стала подыматься в гору, к ее дому; Кэтлин принялась шарить в темноте за подушкой сиденья.

— Ты потеряла что-нибудь?

— Выпало, наверно, — сказала она, роясь в сумочке.

— Что именно?

— Конверт.

— Важное что-то?

— Нет.

Но когда подъехали к ее дому и Стар включил на переднем щитке лампочку, они вдвоем сняли подушки сидений и снова поискали.

— Ну, да неважно, — сказала она, идя к веранде. — Мне бы нужен адрес дома — не того, откуда едем, а того, где продюсер Стар живет.

— Адрес мой простой: Бель-Эр. Без номера.

— А где это?

— Бель-Эр — новый район застройки, у Санта-Моники. Но лучше позвони мне на студию.

— Ладно... спокойной ночи, мистер Стар.

— «Мистер Стар»? — повторил он удивленно.

— Спокойной ночи. Стар, — кротко поправилась она. — Так лучше?

Он почувствовал, что его как бы слегка отодвигают.

— Ну-ну, — сказал он, не давая заразить себя этим холодком. Он глядел на нее, чуть поводя головой вправо-влево — повторяя ее жест — и говоря без слов: «Ты знаешь ведь, что у меня это не шутки». Она вздохнула. Он обнял ее, она прильнула, на минуту снова стала

полностью его. Прежде чем минута погасла, Стар прошептал: «Спокойной ночи», повернулся и пошел к «родстеру».

Он вел машину по извилистому спуску, вслушиваясь в себя — там словно начиналась музыка, могучая, странная, властная, неизвестно чьего сочинения, исполняемая впервые. Сейчас зазвучит тема — но музыка насквозь нова, и он не сразу распознает приход темы. Она войдет, быть может, клаксонами автомобилей с цветных, как фильмы, бульваров или приглушенной дробью облачного барабана луны. Он напрягал слух, зная лишь, что уже начинается — небывалая, милая сердцу и непонятная музыка. Знакомое, избитое бессильно будоражить; эта же музыка до смятенья нова, такую музыку не кончишь по старым нотам, если выключишь на середине.

А еще — и неотвязно, и смыкаясь с музыкой — была мысль о негре. Он ждет теперь у Стара в кабинете, маячит с ведрами серебристой рыбы, а утром будет ждать на студии. Негр не велит своим детям смотреть картины Стара. Негр не прав, он подходит предвзято, и его надо как-то переубедить. Надо сделать фильм, да не один, а десяток фильмов — и доказать ему, что он не прав. Под влиянием слов негра Стар уже вычеркнул мысленно из планов четыре картины, в том числе одну, намеченную к съемкам на будущей неделе. Стар и раньше считал их не слишком актуальными, но сейчас взглянул на них глазами негра и отверг как дрянь. И снова включил в свои планы трудноотстаиваемую картину, которую бросил было на съедение волкам — Брейди, Маркусу и прочим, — чтобы взамен добиться своего в другом пункте. Восстановил эту картину ради негра.

Когда Стар подъехал к крыльцу, там загорелся свет, и слуга-филиппинец, сбежав со ступенек, отвел машину в гараж. В кабинете Стар увидел список телефонных звонков:

Ла Борвиц

Маркус

Гарлоу

Рейнмунд

Фербенкс

Брейди

Скурас

Флайшэкер и т. д. Вошел филиппинец, держа в руке письмо.

— Из машины выпало, — сказал он.

— Спасибо, — сказал Стар — Я искал его.

— Будете сейчас картину смотреть?

— Нет, спасибо, — можешь идти спать. Письмо было адресовано Монро Стару, эсквайру.

Он удивился, хотел надорвать конверт, но вспомнил, что она ведь искала это письмо — возможно, чтобы взять его обратно. Будь у нее дома телефон, он бы позвонил сейчас, попросил разрешения вскрыть его. Он повертел конверт в руках. Написано еще до встречи — забавно думать, что так или иначе оно утратило силу, а интересно скорее как памятка о пройденной стадии чувства.

Однако читать без позволения не годилось. Положив конверт рядом с кипой сценариев, он взял из этой кипы верхний, раскрыл у себя на коленях. Гордости его льстило, что он не поддался первому порыву, не прочел письма. Это доказывало, что он и теперь не «теряет голову», как не терял голову в отношениях с Минной, даже в самом начале. Они были царственной четой — брак их был как нельзя более уместен. Минна всегда любила Стара, а перед ее смертью нежность прорвалась и у него, хлынула и затопила нежданно-негаданно. И любовь, которой он исполнился, переплеталась с тягой к смерти: в мире смерти Минна была так одинока, что его тянуло уйти туда с ней вместе.

Но он никогда не был безудержно «падок до баб», как его брат — того вконец сгубила баба, вернее, целая серия баб. Монро же в юности испил это однажды — и твердо отставил бокал. Совсем иная романтика влекла его разум — вещи потоньше чувственных кутежей.

Подобно многим блестяще одаренным личностям, он вырос ледяно равнодушным к сексу. Начал с полного неприятия, нередко свойственного выдающимся умам, — чуть не двенадцатилетним еще мальчиком сказал себе: «Смотри — это ведь все не то — непорядок, грязь — сплошная ложь и липа» — и отмел от себя начисто, в решительном духе людей его склада; но не очерствел затем, не осволоchel, как большинство таких людей, а окинул взглядом оставшуюся убогую пустыню и возразил себе: «Нет, так нельзя». И обучил себя доброте, снисходительной терпеливости, даже любовной привязанности.

Филиппинец внес вазы с орехами и фруктами, графин воды и пожелал спокойной ночи. Стар занялся чтением сценариев.

Он провел за этим чтением три часа, время от времени приостанавливаясь и делая правку в уме, без карандаша. Порой он отрывал глаза от страницы, согретый какой-то мыслью, очень смутной, радостной. Мысль была связана не со сценарием, а с чем-то иным, и каждый раз он целую минуту вспоминал, с чем именно. С Кэтлин! И вспомнив это, взглядывал на конверт — славно было получить от нее письмо.

В четвертом часу ночи у него туго запульсировало в затылке — сигнал, что пора кончать работу. Ночь таяла, а с ней отдалилась и Кэтлин, все впечатленья о ней сплылись в один влекущий образ незнакомки, соединенной с ним лишь хрупкой общностью двух-трех часов. И теперь уж вполне можно было вскрыть конверт.

«Дорогой мистер Стар.

Через полчаса я встречу с Вами. А на прощание вручу Вам это письмо. Знайте, что я выхожу замуж и виделась с Вами последний раз.

Мне следовало бы сказать Вам накануне вечером, но Вас это вчера как-то мало заботило. А чудесный день сегодня было бы глупо омрачать этой вестью и смотреть потом, как угасает Ваш интерес ко мне. Пусть лучше он погаснет сразу — когда прочтете это письмо. К тому времени Вы уж из общения со мной поймете, что я не более как Мечта Мелкоплавающего и сама мелко плаваю (Я только что услышала это выражение от моей вчерашней соседки по столу, она утром зашла ко мне на часок. По ее мнению, все на свете мелко плавают — кроме Вас. По-видимому, она хочет, чтобы я сообщила Вам ее слова. Вы уж дайте ей роль, если можно.)

Я очень польщена тем, что человек, окруженный таким множеством красивых женщин... не умею кончить фразу, но Вы поймете, что я хочу сказать. А теперь надо ехать на свидание с Вами, не то опоздаю. Всего Вам самого хорошего.

Кэтлин Мур.»

Первым чувством Стара был какой-то испуг; затем в мозгу мелькнуло, что письмо утратило силу — она ведь хотела даже взять его обратно. Но тут он вспомнил, что, расставаясь, Кэтлин назвала его «мистер Стар» и спросила адрес, — и уже, наверно, написала новое прощальное письмо. Его — вопреки всякой логике — покорило ее равнодушие ко всему, что случилось потом. Он перечел письмо и понял, что Кэтлин просто не предвидела такого оборота отношений. Однако, прощаясь, она решила все-таки оставить письмо в силе, — принизив значение случившегося между ними, отмахнувшись от того, что чувствами ее владел сегодня безраздельно он, Стар. Но он и этой безраздельности уже сейчас не верил, повторяя в памяти ход встречи, и ореол ее померк. Дорогу, шляпку, музыку, да и само письмо — все сдуло прочь, как лоскуты толя с недостроенных стен его дома. И Кэтлин ушла, забрав с собою жесты, тихие движенья головы, крепко сбитое, бодрое тело, босые ноги во влажном песке и прибое. Небеса полиняли, поблекли, дождь с ветром уныло захлестали по песку, смывая серебряную рыбешку обратно в море. Миновал еще один обычный день, и не осталось ничего, кроме кипы сценариев на столе.

Он пошел к себе наверх. На повороте лестницы Минна снова умерла; он шагал по ступенькам, забывая ее горестно, тоскливо. Перед ним простерся пустой этаж, где за дверями не было живых и спящих. Сняв галстук, сняв туфли, он сел на край постели. Черта подведена, только еще что-то мерещилось неконченное. И он вспомнил; ее машина до сих пор на стоянке у отеля. Он завел будильник, отводя шесть часов сну.

Переключаю рассказ опять на первое лицо. Последить теперь за моими действиями будет, я думаю, очень любопытно, потому что этого эпизода я стыжусь. А о постыдном обычно бывает интересно читать.

Когда я на балу послала Уайта разузнать о девушке, танцевавшей со Старом, Уайт ничего у Марты Додд не выяснил, — а для меня это внезапно стало главным интересом в жизни. И я справедливо решила, что Марта Додд — бывшая звезда — тоже непременно станет дознаваться о той девушке. Сидеть бок о бок с предметом восхищения коронованных особ, с кандидаткой во властительницы нашего кинокняжества — и не знать даже, как ее зовут!

Я была малознакома с Мартой и не стала обращаться к ней прямо: вышло бы слишком прозрачно. Взамен я поехала в понедельник на студию и зашла к Джейн Мелони.

Мы с Джейн были друзья. Я привыкла смотреть на нее, как ребенком смотришь на домочадцев. Что она сценаристка, я всегда знала, но в детских глазах сценаристы и секретари были одно и то же, только от сценаристов обычно пахло коктейлями и сценаристов чаще приглашали обедать. А говорили о них тем же тоном, что и о секретаршах. Исключение составляла разновидность, именуемая драматургами и наезжавшая с Востока. К драматургам относились с уважением. Но если они застревали надолго на студии, то опускались туда же, что и прочие, — в разряд низших служащих.

Рабочая комната Джейн была в «старом сценаристском корпусе». На каждой киностудии есть такой тюремный ряд каморок, которые остались со времен немого кино и до сего дня оглашаются страдальческими стонами заточенных там поденщиков и лодырей. У нас в ходу был анекдот о том, как новичок-продюсер посетил эти скорбные кельи и всполошенно позвонил затем в дирекцию: «Чего они сидят там?» — «Это сценаристы, писатели наши». — «Хороши писатели. Я минут десять следил за этими писателями — двое совсем ни строчки не написали».

Джейн сидела за своей машинкой, торопясь достучать что-то до обеденного перерыва. Я не стала от нее таиться.

— Представьте, у меня соперница. Причем темная лошадка. Даже как ее зовут, не могу выяснить.

— Неужели? — сказала Джейн. — Что ж, мне известны некоторые детали. Мне рассказывал кто-то.

«Кто-то» — ее племянник, конечно, Нед Соллинджер, рассыльный Стара. Нед был ее гордостью и надеждой. Джейн послала его учиться в Нью-йоркский университет, и он там профутболил три общеобразовательных года в университетской команде. Стал затем учиться на медицинском факультете, но тут его отвергла девушка, и он иссек из женского трупа самую его неафишируемую часть и послал той девушке. Зачем? — его спросите. В раздоре с миром и судьбой он снова начал восхождение со дна жизни и все еще обретался на доньшке.

— Что же вам о ней известно? — спросила я Джейн.

— Встретились они в ночь землетрясения. Она упала в разлившееся озеро, а он нырнул за ней и спас ей жизнь. А по чьей-то еще версии, она с балкона у него прыгнула и сломала руку.

— Кто же она такая?

— С этим тоже связано забавное...

Зазвонил телефон, и я нетерпеливо стала дожидаться, когда кончится у Джейн длинный разговор с Джо Рейнмундом. Он, видимо, решил по телефону выяснить, какая ей цена как работнику и писала ли Джейн вообще когда-нибудь киносценарии. Это она-то, живая свидетельница того, как Гриффит впервые применил на съемках крупный план! Во все время разговора Джейн тяжело вздыхала, мучительно ерзала, гримасничала в трубку, клала ее к себе на колени, так что голос Рейнмунда был слышен еле-еле — и вела для меня тихой скороговоркой репортаж:

— Что это у Рейнмунда — выдался часок безделья? Нечем убить время?.. Он уже десять раз у меня все это спрашивал... Я ему и письменно докладывала...

А в трубку:

— Если сценарий уйдет к Монро, то не по моей вине. Я хочу довести дело до конца. Она опять закрыла глаза в муке:

— Теперь распределяет роли... второстепенными занялся... назначает Бадди Эбсена... Ему определено делать нечего... Теперь ставит Уолтера Дэвенпорта — путает его с Дональдом Криспом... раскрыл большой актерский справочник, и слышно, как листает... Он с утра сегодня крупный деятель, второй Стар, а мне, чорт возьми, еще две сцены написать до перерыва.

Наконец Рейнмунд отлип или его оторвали от телефона. К нам вошел официант с подносом для Джейн и кока-колой для меня — я в то лето обходилась без ланча. Прежде чем заняться едой, Джейн отстукала еще фразу. Любопытный у нее способ творчества. При мне как-то Джейн, на пару с одним молодым человеком, сперла сюжет из «Сатердей ивнинг пост». Изменив персонажей и прочее, они стали писать текст, пригоняя строку к строке, и звучало это, разумеется, как и в жизни звучит, когда люди пыжятся быть кем-то — остряками, джентльменами, храбрецами. Я хотела потом посмотреть, что получилось на экране, но как-то пропустила этот фильм. Я любила Джейн, как ребенок любит старую дешевую игрушку. Она зарабатывала три тысячи в неделю, а мужья все попадались ей пьяницы, колотившие ее смертным боем. Но сегодня я пришла с корыстной целью.

— Как же ее зовут? — опять спросила я.

— Ах да... — сказала Джейн. — Ну, потом он все дозванивался до нее и в конце концов сказал секретарше, что фамилия не та вовсе.

— Он нашел ее тем не менее, — сказала я. — Вы с Мартой Додд знакомы?

— Не повезло бедной девочке в жизни! — воскликнула Джейн с готовым театральным сочувствием.

— Пожалуйста, пригласите ее завтра в ресторан.

— Но, по-моему, она не голодает... У нее мексиканец...

Я объяснила, что действую не из благотворительных побуждений. Джейн согласилась помочь. Она позвонила Марте Додд.

На следующий день мы сидели втроем в «Буром котелке» — действительно буром и сонном кафе, приманивающим своей кухней сонливых клиентов. За ленчем публика слегка оживает — подкрепившись, женщины принимают на пять минут бодрый вид; но трио у нас получилось вяловатое. Мне следовало сразу взять быка за рога. Марта Додд была девочка из сельских, так и недопонявшая, что с ней произошло, и от прежней роскоши сохранившая только блеклые тени у глаз.

Марта все еще верила, что звездная жизнь, которой она вкусила, обязательно возобновится, а теперь всего лишь длинный антракт.

— У меня в двадцать восьмом году была прелесть, а не вилла, — рассказывала нам Марта, — тридцать акров, с трассочкой для гольфа, с бассейном, с шикарным видом. Весной я гуляла там по самое-мое в ромашках.

Я все мялась и кончила тем, что предложила ей зайти со мной к отцу. Этим я наказывала себя за «скрытый умысел» и за стеснительность. В Голливуде не принято стесняться и темнить, — это сбивает с толку. Всем понятно, что у всякого своя корысть, а климат и так расслабляет. Ходить вокруг да около — явная и пустая трата времени.

Джейн рассталась с нами в воротах студии, морщась от моего малодушия. Марта была взвинчена до некоторой степени, не слишком высокой, — сказывались семь лет заброса, — и шла в послушной и нервной готовности. Я собиралась поговорить с отцом решительно. Для таких, как Марта, на чьем взлете компания нажила целую уйму денег, ровно ничего потом не делалось. Они впадали в убожество, их занимали разве что изредка в эпизодах. Милосердней было бы сплавить их вообще из Голливуда... А отец ведь так гордился мной в то лето. Приходилось даже одергивать его — он готов был разливаться перед всеми об утонченном воспитании, вышлифовавшем из меня бриллиант. Беннингтон — ах, ах, что за аристократический колледж! Я уверяла его, что там у нас был обычный контингент

прирожденных судомоек и кухарок, элегантно прикрытый и сдобренный красотками, которым не нашлось места на Пятой авеню всеамериканского секса. Но отца не унять было — прямо патриот Беннингтона. «Ты получила всё», — повторял он радостно. В это «все» входили два года ученья во Флоренции, где я чудом уберегла девственность, одна из всех пансионеров, — и первый бал, выезд в свет, устроенный мне, пришлой, не где-нибудь, а в городе Бостоне. Что уж говорить, я и впрямь была цветком доброй старой оптово-розничной аристократии.

Так что я твердо рассчитывала добиться кое-чего для Марты Додд и, входя с ней в приемную, радужно надеялась помочь и Джонни Суонсону, ковбою, и Эвелине Brent, и прочим заброшенным. Отец ведь человек отзывчивый и обаятельный — если забыть про впечатление от неожиданной встречи с ним в Нью-Йорке; и как-то трогательно даже, что он мне отец.

Что ни говори, а — родной отец и все на свете для меня сделает.

В приемной была только Розмэри Шмил, она разговаривала по телефону за столом другой секретарши, Берди Питерс. Розмэри сделала мне знак присесть, но, погруженная в свои розовые планы, я велела Марте подождать и не волноваться, нажала под столом у Розмэри кнопку и направилась к дверям кабинета.

— У вашего отца совещание, — крикнула Розмэри мне вслед. — То есть не совещание, но нельзя...

Но я уже миновала дверь, и тамбур, и вторую дверь и вошла к отцу; он стоял без пиджака, потный и открывал окно. День был жаркий, но не настолько уж, и я подумала, что отец нездоров.

— Нет-нет, вполне здоров, — заверил он. — С чем явилась?

Я сказала ему с чем. Шагая взад-вперед по кабинету, я развила целую теорию насчет Марты Додд и других бывших. Его задача — их использовать, обеспечить им постоянную занятость. Отец горячо подхватил мою мысль, закивал, засоглашался; давно не был он мне так мил и близок, как сейчас. Я подошла, поцеловала отца в щеку. Его мелко трясло, рубашка на нем была хоть выжми.

— Ты нездоров, — сказала я, — или ужасно взволнован чем-то.

— Нет, вовсе нет.

— Не скрывай от меня.

— А-а, это все Монро, — сказал он. — Чертов Мессия голливудский! Он днем и ночью у меня в печенках.

— А что случилось? — спросила я, совсем уже не так ласково.

— Да взял моду вещать этаким попилом или раввинчиком — мол, делать надо то, а того не надо. Я после расскажу — теперь я слишком расстроен. А ты иди уж, иди.

— Нет, прежде успокойся.

— Да иди уж, говорю тебе!

Я втянула в себя воздух, но спиртным не пахло.

— Поди причешишь, — сказала я. — Марта Додд сейчас войдет.

— Сюда? Я же от нее до вечера не избавлюсь.

— Тогда выйди к ней в приемную. Сперва умойся. Смени рубашку.

Преувеличенно безнадежно махнув рукой, он ушел в ванную комнатку. В кабинете было жарко, окна с утра, должно быть, не открывались, — потому, возможно, он и чувствовал себя так, и я распахнула еще два окна.

— Да ты иди, — сказал он из-за двери ванной. — Я выйду к ней сейчас.

— Будь с Мартой как можно щедрей и учтивей, — сказала я. — Не кидай ей крох на бедность.

И точно сама Марта отозвалась — протяжный тихий стон донесся откуда-то. Я вздрогнула. И замерла на месте: стон послышался опять — не из ванной, где был отец, и не из приемной, а из стенового шкафа в кабинете. Как у меня хватило храбрости, не знаю, но я подбежала, открыла створки, и оттуда боком вывалилась Берди Питерс, совершенно голая, — в точности как в фильмах труп вываливается. Из шкафа дохнуло спертым, душным воздухом. В руке у Берди

были зажаты одежды, она плюхнулась на пол, — вся в поту, — и тут вышел из ванной отец. Он стоял у меня за спиной; я, и не оборачиваясь, знала, какой у него вид — мне уже случалось заставить его врасплох.

— Прикрой ее, — сказала я, стягивая плед с кушетки и набрасывая на Берди. — Прикрой!

Я выскочила из кабинета. Розмэри Шмил взглянула на меня, и на лице ее выразился ужас. Больше уж я не видела ни ее, ни Берди Питерс. Когда мы с Мартой вышли, Марта спросила: «Что случилось, дорогая?» И, не дождавшись ответа, утешила: «Вы сделали все, что могли. Наверно, мы не вовремя явились. Знаете что? Давайте-ка съездим сейчас к очень милой англичанке. Знаете, с которой Стар танцевал в «Амбассадоре».

Так, ценой краткого погруженья в семейные нечистоты, я добилась желаемого.

Мне плохо запомнился наш визит. Начать с того, что мы не застали ее. Сетчатая дверь дома была незаперта. Марта позвала: «Кэтлин!» — и вошла с бойкой фамильярностью. Нас встретила голая, гостинично-казенная комната, стояли цветы, но дареные букеты выглядят не так. На столе Марта нашла записку: «Платье оставь. Ушла искать работу. Загляну завтра».

Марта прочла ее дважды, но записка была адресована явно не Стару; мы подождали минут пять. Когда хозяев нет, в доме тихо по-особому. Я не в том смысле, что без хозяев все должно скакать и прыгать — но уж как хотите, а впечатление бывает особой тишины. Почти торжественной, и только муха летает, не обращая на вас внимания и заземляя эту тишь, и угол занавески колышется.

— Какую это она ищет работу? — сказала Марта. — Прошное воскресенье она ездила куда-то со Старом.

Но мне уже гнусно было — вынюхивать, выведывать, стоять здесь. «И правда, вся в папашу», — подумала я с омерзением. И в настоящей панике потащила Марту вон на улицу. Там безмятежно сияло солнце, но у меня на сердце была черная тоска. Я всегда гордилась своим телом — все в нем казалось мне геометрически, умно закономерным и потому правильным. И хотя, наверно, нет такого места, включая учреждения, музеи, церкви, где бы люди не обнимались, — но никто еще не запирает меня голую в душный шкаф среди делового дня.

— Допустим, — сказал Стар, — что вы пришли в аптеку...

— За лекарством? — уточнил Боксли.

— Да, — кивнул Стар. — Вам готовят лекарство — у вас кто-то близкий находится при смерти. Вы смотрите в окно, и все, что там сейчас вас отвлекает, что притягивает ваше внимание, — все это будет, пожалуй, материалом для кино.

— Скажем, происходящее за окном убийство.

— Ну, зачем вы опять? — улыбнулся Стар, — Скажем, паук на стекле тклет паутину.

— Так, так — теперь ясно.

— Боюсь, что нет, мистер Боксли. Вам ясно это применительно к вашему искусству, но не к нашему. Иначе б вы не всучивали нам убийства, оставляя паука себе.

— Пожалуй, мне лучше откланяться, — сказал Боксли. — Я не гожусь для кино. Торчу здесь уже три недели попусту. Ничего из предложенного мной не идет в текст.

— А я хочу, чтобы вы остались. Но что-то внутри у вас не приемлет кино, всей манеры кинорассказа...

— Да ведь досада чортова, — горячо сказал Боксли. — Здесь вечно скованы руки...

Он закусил губу, понимая, что Стар — кормчий — не на досуге с ним беседует, а ведя корабль трудным, ломаным курсом в открытом море, под непрерывным ветром, гудящим в снастях. И еще возникало у Боксли сравнение: огромный карьер, где даже свежедобытые глыбы мрамора оказываются частями древних узорных фронтонов, несут на себе полустертые надписи...

— Все время хочется остановиться, переделать заново, — сказал Боксли. — Беда, что у вас здесь конвейер.

— От ограничений не уйти, — сказал Стар. — У нас не бывает без этих сволочных условий и ограничений. Мы сейчас делаем фильм о жизни Рубенса. Предположим, вам велят писать портреты богатых кретинов вроде Пата Брейди, Маркуса, меня или Гэри Купера — а вас тянет писать Христа! Вот вам и опять ограничение. Мы скованы, главное, тем, что можем лишь брать у публики ее любимый фольклор и, оформив, возвращать ей на потребу. А остальное все — приправа. Так не дадите ли вы нам приправы, мистер Боксли?

И пусть Боксли будет сердито ругать Стара, сидя вечером сегодня с Уайли Уайтом в ресторане «Трокадеро», но он читал лорда Чарнвуда и понимал, что, подобно Линкольну, Стар — вождь, ведущий долгую войну на много фронтов. За десять лет Стар, почти в одиночку, резко продвинул кинодело вперед, и теперь фильмы «первой категории» содержанием были шире и богаче того, что ставилось в театрах. Художником Стару приходилось быть, как Линкольну генералом, — не по профессии, а по необходимости.

— Пойдемте-ка со мной к Ла Борвицу, — сказал Стар. — Им сейчас очень нужна приправа.

В кабинете Ла Борвица было накурено, напряжено и безысходно. Два сценариста, секретарь-стенографистка и притихший Ла Борвиц так и сидели, как их оставил Стар три часа назад. Стар прошелся взглядом по лицам и не увидел ничего отрадного. Как бы склоняя голову перед неодолимостью задачи, Ла Борвиц произнес:

— У нас тут слишком уж много персонажей, Монро.

Стар фыркнул несердито.

— В этом-то и суть фильма.

Он нашарил в кармане мелочь, взглянул на люстру, висящую на цепочках, и подбросил вверх полдоллара; монета, звякнув, упала в чашу люстры. Из горсти монеток Стар выбрал затем четвертак.

Ла Борвиц уныло наблюдал; он знал привычку Стара подбрасывать монеты и знал, что сроки истекают. Воспользовавшись тем, что в эту минуту никто на него не смотрел, Ла Борвиц вдруг вскинул руки, укромно покоившиеся под столом, — высоко взметнул ладони в воздух, так высоко, что, казалось, они оторвались от запястий, и снова поймал, опустил, спрятал. После чего Ла Борвиц приободрился. К нему вернулось самообладание.

Один из сценаристов тоже вынул из кармана мелочь; затем согласовали правила игры. «Монета должна упасть в люстру, не задев цепочек. А то, что упало задев, идет в добычу бросившему чисто».

Игра продолжалась минут тридцать, участвовали все, кроме Боксли — он сел в сторонке и углубился в сценарий — и кроме секретарши, которая вела счет выигрышам. Она прикинула кстати суммарную стоимость времени, потраченного четырьмя участниками на игру, — получилась цифра в тысячу шестьсот долларов. В конечном итоге в победители вышел Ла Борвиц: выиграл пять долларов пятьдесят центов. Швейцар принес стремянку и выгреб монеты из люстры.

Вдруг Боксли громко заговорил:

— При таком сценарии фильм шлепнется.

— Что-что?

— Это не кинематограф.

Они пораженно глядели на него. Стар спрятал улыбку.

— Явился к нам знаток кинематографа! — воскликнул Ла Борвиц.

— Красивых речей много, но нет остроты ситуаций, — храбро продолжал Боксли. — Вы ведь не роман все-таки пишете. И чересчур длинно. Мне трудно выразиться точнее, но чувствую — не совсем то. И оставляет равнодушным.

Он возвращал им теперь все усвоенное за три недели. Стар искоса, сторонним наблюдателем, следил за ними.

— Число персонажей надо не уменьшить, — говорил Боксли, — а увеличить. В этом, по-моему, главное.

— Суть в этом, — подтвердили сценаристы.

— Да, суть в этом, — сказал Ла Борвиц.

— Пусть каждый персонаж поставит себя на место другого, — продолжал Боксли, воодушевленный общим вниманием. — Полицейский хочет арестовать вора и вдруг видит, что у них с вором совершенно одинаковые лица. Надо повернуть именно этой гранью. Чтобы фильм чуть ли не озаглавить можно было: «Поставь себя на мое место».

И неожиданно все снова взялись за дело, поочередно подхватывая эту новую тему, как оркестранты в горячем джазе, и резво ее разрабатывая. Возможно, уже завтра этот вариант будет отброшен, но на сегодня жизнь вернулась. И столько же благодаря подбрасыванию монет, сколько подсказке Боксли. Стар возродил нужную для дела атмосферу; начисто отказавшись от роли понукателя-погонщика, он затеял вместо этого забаву, — действуя и чувствуя себя, и даже внешне выходя минутами как мальчуган-заводи́ла.

На прощанье Стар хлопнул Боксли по плечу — это был намеренный жест поощрения и дружбы. Уходя к себе, Стар не хотел, чтобы прочие сообщки набросились на Боксли и в какие-нибудь полчаса сломили его дух.

В кабинете Стара дожидался доктор Бэр. Врача сопровождал мулат с большим чемоданом — переносным кардиографом. Стар окрестил этот прибор «разоблачителем лжи». Стар разделся до пояса, и еженедельное обследование началось.

— Как самочувствие все эти дни?

— Да как обычно, — ответил Стар.

— Работы по горло? А высыпаешься?

— Нет, сплю часов пять. Если лягу рано, просто лежу без сна.

— Принимай снотворное.

— От желтых таблеток в голове муть.

— Принимай в таком случае две красные.

— От красных кошмарные сны.

— Тогда принимай по одной обоим видов — желтую, затем красную.

— Ладно, попробую. Ну, а ты как?

— Я-то себя не изнуряю, Монро. Я берегу себя.

— Нечего сказать, бережешь. Всю ночь, бывает, проводишь на ногах.

— Зато потом весь день сплю.

Десятиминутная пауза, затем Бэр сказал:

— Как будто неплохо. Давление повысилось на пять делений

— Это хорошо, — сказал Стар. — Ведь хорошо же?

— Да, хорошо. Кардиограммы проявлю вечером. Когда же мы поедем вместе отдыхать?

— Надо будет как-нибудь, — сказал Стар беспечно. — Вот разгрузюсь чуточку — месяца через полтора.

Бэр взглянул на него с неподдельной симпатией, которой проникся за все эти годы.

— В тридцать третьем ты дал себе трехнедельную передышку, — напомнил он. — Короткий перерыв, и то стало лучше.

— Я снова сделаю перерыв.

«Нет, не сделает», — подумал Бэр. Когда еще жива была Минна, Бэру удалось с ее помощью добиться нескольких коротких передышек, — и в последнее время Бэр потихоньку выяснял, кто из друзей ближе Стару, кто смог бы увезти его на отдых и удержать от возвращения. Но почти наверняка все это будет бесполезно. Он уже скоро умрет. Определенно, больше полугода не протянет. Что же толку проявлять кардиограммы? Таких, как Стар, не уговоришь бросить работу, лечь и заняться созерцанием небес. Он не задумываясь предпочтет смерть. Хоть он и не признается, но в нем четко заметна тяга к полному изнеможению, до которого он уже и прежде доводил себя. Усталость для него не только яд, но и успокоительное лекарство; работая хмельной от усталости, он явно испытывает тонкое, почти физическое наслаждение. Бэр в своей практике уже встречался с подобным извращением жизненной силы — и почти перестал

вмешиваться. Ему удалось излечить одного-двух, но то была бесплодная победа: пустая оболочка спасена, дух мертв.

— Ты держишься молодцом, — сказал он Стару. Взгляды их встретились. Знает ли Стар? Вероятно.

Однако не знает, когда — не знает, как уже мал срок.

— Держусь — вот и славно. Большого не требую, — сказал Стар.

Мулат кончил укладывать кардиограф.

— Через неделю в это же время?

— Ладно, Билл, — сказал Стар. — Всего хорошего. Когда дверь за ними закрылась. Стар включил диктограф. Тотчас же раздался голос секретарши:

— Вам знакома мисс Кэтлин Мур?

— А что? — встрепенулся он.

— Мисс Кэтлин Мур у телефона. Она сказала, что вы просили ее позвонить.

— Чорт возьми! — воскликнул он, охваченный и гневом и восторгом. (Пять дней молчала — ну разве так можно!) — Она у телефона?

— Да.

— Хорошо, соединяйте.

И через секунду он услышал ее голос совсем рядом.

— Вышли замуж? — проворчал он хмуро.

— Нет, еще нет.

В памяти очертился ее облик; Стар сел за стол, и Кэтлин словно тоже наклонилась к столу — глаза вровень с глазами Стара.

— Что значат эти загадки? — заставил он себя снова проворчать. Заставил с трудом.

— Нашли все же письмо? — спросила она.

— Да. В тот же вечер.

— Вот об этом нам и нужно поговорить.

— Все и так ясно, — сказал он сурово. Он наконец нашел нужный тон — тон глубокой обиды.

— Я хотела послать вам другое письмо, но не написалось как-то.

— И это ясно.

Пауза.

— Ах, нельзя ли веселей! — сказала она неожиданно. — Я не узнаю вас. Ведь вы — Стар? Тот самый, милый-милый мистер Стар?

— Я не могу скрыть обиды, — сказал он почти высокопарно. — Что пользы в дальнейших словах? У меня, по крайней мере, оставалось приятное воспоминание.

— Просто не верится, что это вы, — сказала она. — Не хватает лишь, чтобы вы пожелали мне счастья. — Она вдруг рассмеялась. — Вы, наверно, заготовили свои слова заранее? Я ведь знаю, как это ужасно — говорить заготовленными фразами...

— Я мысленно уже простился с вами навсегда, — произнес он с достоинством; но она только опять рассмеялась этим женским смехом, похожим на детский — на односложный ликующий возглас младенца.

— Знаете, — сказала она задорно, — в Лондоне было как-то нашествие гусениц, и мне в рот упало с ветки теплое, мохнатое... А теперь слушаю вас, и у меня такое же ощущение.

— Прошу извинить, если так.

— Ах, да очнитесь же, — взмолилась Кэтлин. — Я хочу с вами увидеться. По телефону не объяснишь. Мне ведь тоже было мало радости прощаться.

— Я очень занят. Вечером у нас просмотр в Глендейле.

— Это надо понимать как приглашение?

— Я еду туда с Джорджем Боксли, известным английским писателем. — И тут же отбросил напыщенность: — Вы хотели бы пойти?

— А мы сможем там поговорить? Лучше вы заезжайте оттуда ко мне, — подумав, предложила она. — Прокатимся по Лос-Анджелесу.

Мисс Дулан подавала уже сигналы по диктографу — звонил режиссер со съемок (только в этом случае разрешалось вторгаться в разговор). Стар нажал кнопку, раздраженно сказал в массивный аппарат: «Подождите».

— Часов в одиннадцать? — заговорщически предложила Кэтлин.

Это ее «прокатимся» звучало так немудро, что он тут же бы отказался, если бы нашлись слова отказа, но мохнатой гусеницей быть не хотелось. И неожиданно обида, поза — все отступило, оставив только чувство, что как бы ни было, а день приобрел завершенность. Теперь был и вечер — были начало, середина и конец.

Он постучал в дверь, Кэтлин отозвалась из комнаты, и он стал ждать ее, сойдя со ступенек. У ног его начинался скат холма. Снизу шел стрекот газонокосилки — какой-то полуночник стриг у себя на участке траву. Было так лунно, что Стар ясно видел его в сотне футов ниже по склону; вот он оперся, отдыхая, на рукоятку косилки, прежде чем снова катить ее в глубину сада. Повсюду ощущался летний непокой — было начало августа, пора шальной любви и шалых преступлений. Вершина лета пройдена, дальше ждать нечего, и люди кидались пожить настоящим, — а если нет этого настоящего, то выдумать его.

Наконец Кэтлин вышла. Она была совсем другая и веселая. На ней были жакет и юбка; идя со Старом к машине, она все поддергивала эту юбку с бесшабашным, жизнерадостным, озорным видом, как бы говорящим: «Туже пояс, детка. Включаем музыку». Стар приехал с шофером, и в уютной замкнутости лимузина, несущего их по темным и новым изгибам дороги, как рукой сняло все отчуждение. Не так-то много в жизни Стара было минут приятней, чем эта прогулка. Если он и знал, что умрет, то уж, во всяком случае, знал, что не сейчас, не этой ночью.

Она поведала ему свою историю. Сидя рядом, свежая и светлая, она рассказывала возбужденно, переноса его в дальние края, знакомя с людьми, которых знала. Сначала картина была зыбковата. Был «тот первый», кого Кэтлин любила и с кем жила. И был «Американец», спасший ее затем из житейской трясины.

— Кто он, этот американец?

Ах, имеют ли значение имена? Он не такая важная персона, как Стар, и не богат. Жил раньше в Лондоне, а теперь они будут жить здесь. Она будет ему хорошей женой — будет жить по-человечески. Он сейчас разводится (он и до Кэтлин хотел развестись), и отсюда задержка.

— Ну, а как у вас с «тем первым» было? — спросил Стар.

Ох, встреча с ним была прямо счастьем. С шестнадцати и до двадцати одного года она думала лишь о том, как бы поесть досыта. В тот памятный день, когда мачехе удалось представить ее ко двору, у них с утра оставался один шиллинг, и они купили на него поесть, чтобы не кружилась голова от слабости, и разделили еду поровну, но мачеха смотрела ей в тарелку. Спустя несколько месяцев мачеха умерла, и Кэтлин пошла бы на улицу продаваться за тот же шиллинг, да слишком ослабела. Лондон может быть жесток, бесчувственно жесток.

— А помощи ниоткуда не было?

Были друзья в Ирландии, присылали иногда сливочное масло. Была даровая похлебка для бедных. Был родственник, дядя, она пришла к нему, а он, накормив, полез к ней, но она не далась, пригрозила сказать жене и взяла с него пятьдесят фунтов за молчание.

— Поступить на работу нельзя было?

— Я работала. Продавала автомобили. Даже продала один.

— А устроиться на постоянную?

— Это трудней — и тягостней. Такое было чувство, что вырываешь кусок хлеба у других. Я пошла наниматься горничной в отель, и женщина, моя конкурентка, меня ударила... — Но вы ведь были представлены ко двору?

— Это стараниями мачехи — просто случай улыбнулся. Я была нуль, никто. Отца убили черно-пегие в двадцать втором, когда я была маленькой. Он написал книгу «Последнее благословение». Не читали?

— Я не читаю книг.

— Вот бы купили для экранизации. Книжка хорошая. Мне до сих пор платят авторские — шиллингов десять в год.

И тут она встретила «того первого» и стала путешествовать с ним по свету. Не только во всех тех местах жила, где происходит действие фильмов Стара, но и в таких городах, о которых он и не слышал. Затем «тот первый» опустил, начал пить, с горничными спать, а ее пытался сплавить своим друзьям. Они все убеждали Кэтлин не покидать его. Говорили, что она спасла его и обязана быть с ним и дальше, всю жизнь, до конца; это долг ее. Их доводы давили на нее необоримой тяжестью. Но она встретила Американца и в конце концов сбежала.

— Надо было это сделать раньше.

— Да не так все просто было. — Она помолчала и, точно решившись, прибавила: — Я ведь от короля сбежала.

Эти слова ошаршили Стара — Кэтлин, выходит, перещеголяла его самого. В голове пронесся рой мыслей, и смутно припомнилось, что царственная кровь — всегда наследственно больная.

— Я не об английском короле говорю, — продолжала Кэтлин. — Мой король был безработный, как он сам о себе выражался. В Лондоне такая уйма королей, — засмеялась она, но прибавила почти с вызовом: — Он был обаятельный, пока не запил и не распустился.

— А чей он был король?

Она сказала, и в памяти Стара всплыло лицо из давней кинохроники.

— Он был очень образованный. Мог бы преподавать всякие науки. Но как король он не блистал. В вас куда больше королевского, чем в нем. Чем во всей той монаршей компании.

Теперь рассмеялся уже Стар.

— Вы понимаете, что я хочу сказать. От них отдавало нафталином. И почти все они так уж рьяно старались не отстать от жизни. Им это усиленно советовалось. Один, например, был синдикалистом. А другой не расставался с газетными вырезками о теннисном турнире, в котором он дошел до полуфинала. Он мне двадцать раз показывал эти вырезки.

Проехали через Гриффит-парк и — дальше, мимо темных студий Бербанка, мимо аэропортов; затем направились на Пасадену, минуя неоновые вывески придорожных кабаре. Он желал ее — скорее мозгом, чем телом, — но час был поздний, и просто ехать рядом было огромной радостью. Он держал ее руку в своей, и Кэтлин на минуту прильнула к нему со словами: «Ты такой милый. Мне так чудесно с тобой». Но она думала о своем — вечер этот не принадлежал ему так безраздельно, как прошлое воскресенье. Она занята была собой, возбуждена рассказом о своих приключениях; Стару невольно подумалось, что, наверно, этот рассказ она сперва приберегла для Американца.

— И давно ты познакомилась с Американцем?

— За несколько месяцев до побега. Мы встречались. Мы понимали друг друга. Он все говорил: «Теперь уж верняк и подпруга затянута».

— Зачем же мне позвонила?

— Хотела еще раз увидеться, — ответила она, помедлив. — И к тому же он должен был приехать сегодня, но вчера вечером прислал телеграмму, что задержится еще на неделю. Я хотела поговорить с другом — ведь ты же мне друг.

Теперь он желал ее сильно, но некий рассудочный кусочек в нем оставался холоден и размышлял: «Она прежде хочет убедиться, что ты любишь ее, женишься на ней. А уж тогда она решит, порвать ли с Американцем. Но прежде непременно хочет удостовериться».

— Ты любишь Американца? — спросил он.

— О да. У нас это накрепко. Без него я бы тогда погибла, с ума бы сошла. Он с другого конца света ко мне сейчас едет. Я позвала его сама.

— Но ты любишь его?

— О да. Люблю.

Это «о да» сказало Стару, что нет, не любит, — что ждет убеждающих слов, — что не поздно еще убедить. Он обнял ее, поцеловал медленно в губы, прижал к себе надолго. По телу разлилось тепло.

— Не сегодня, — прошептала она.

— Хорошо.

Проехали по мосту самоубийц, высоко обтянутому по бокам новой проволокой.

— Я знаю, что такое отчаяние, — сказала она. — Но как все же неумно. Англичане — те себя не убивают, когда не могут достичь, чего хотят.

Развернулись в подъездной аллее у гостиницы и покатали назад. Луна зашла, сумрак сгустился. Волна желания схлынула, и оба молчали. После разговора о королях, по прихотливой ассоциации, в памяти Стара мелькнули кадры детства: Главная улица в городе Эри — униженный огнями Белый Путь; омары в окне ресторана, зеленые водоросли, ярко подсвеченный грот с ракушками. А дальше, за красной портьерой, жутко-влекущая грустная тайна людей и скрипок. Ему тогда было пятнадцать, вскоре затем он уехал в Нью-Йорк. Кэтлин напомнила ему эту витрину с озерной рыбой и омарами во льду. Кэтлин — витринная Чудо-Кукла. Минна — куклой не была никогда.

Они взглянули друг на друга, и глаза ее спросили: «Выходить мне за Американца?» Он не ответил. Помедлив, он предложил:

— Съездим куда-нибудь на уикенд. Она подумала.

— То есть завтра? Он учтиво подтвердил.

— Ну, вот завтра я и скажу, поеду ли.

— Скажи сейчас. А то, чего доброго...

— Обнаружится письмо в машине? — закончила она со смехом. — Нет, письма не будет. Тебе известно теперь почти все.

— Почти...

— Да — почти. Осталась мелочь всякая.

Надо будет узнать, что за «мелочь». Она завтра расскажет. Вряд ли она (хотелось ему думать) успела переменить многих; ведь влюбленность надолго приковала ее к королю. Три года в высшей степени странного положения: одной ногой во дворце, другой — на задворках. «Нужно было много смеяться. Я научилась много смеяться».

— Он мог бы и жениться на тебе — женился же Эдуард Восьмой на миссис Симпсон, — упрекнул короля Стар.

— Но он был женат. И он не был романтиком. — Она замолчала, как бы спохватясь.

— А я романтик?

— Да, — сказала она с неохотой, точно приоткрывая карты. — В тебе есть и романтик. В тебе три или четыре разных человека, но каждый из них — нараспашку. Как все американцы.

— Ты не чересчур уж слепо доверяйся американцам, — сказал он с улыбкой. — Пусть они и нараспашку, но зато способны очень быстро меняться.

— Разве? — встревожилась она.

— Очень быстро и резко — и безвозвратно.

— Ты меня пугаешь. Американцы мне всегда казались незыблемо надежными.

У нее вдруг сделался такой сиротливый вид, что он взял ее за руку.

— Куда же мы завтра поедим? В горы, пожалуй, — сказал он. — У меня завтра куча дел, но я их все отставляю. В четыре сможем выехать в под вечер будем на месте.

— Я не знаю. Я растерялась как-то. Приехала девушка в Калифорнию начать новую жизнь, а получается не совсем то.

Он мог бы сказать ей сейчас: «Нет, это именно новая жизнь», — ведь он знал, что так оно и есть, знал, что не может расстаться с ней теперь; но что-то еще в нем твердило: «Решай как зрелый человек, а не романтик. Повремени до завтра». А она все смотрела на Стара,

скользила взглядом по его лицу — со лба на подбородок, и снова вверх, и снова вниз, — странно, небыстро, знакомо поводя головой.

...Это твой шанс. Не упусти его. Стар. Это — твоя Женщина. Она спасет тебя, растормошит, вернет к жизни. Она потребует забот, и у тебя найдутся, возродятся силы. Но не медли, скажи ей, не отпускай ее из рук. Ни она, ни ты не знаете, — но далекий, на том краю ночи, Американец изменил свои планы. И в эту минуту поезд мчит его через Альбукерке без опоздания и задержки. Машинист ведет состав точно по графику. Утром Американец будет здесь.

...Шофер повел машину наверх, к домику Кэтлин. Холм и в темноте излучал тепло — все, чего коснулась Кэтлин, становилось для Стара волшебным: этот лимузин, дом на взморье, расстояния, уже покрытые вдвоем с ней по дорогам широко раскинувшегося Лос-Анджелеса. Холм, на котором они поднимались сейчас, излучал светлый и ровный звук — обдавал душу восторгом.

Прощаясь, Стар опять почувствовал, что немисливо расстаться с ней, пусть даже только на несколько часов. Он был всего на десять лет старше ее, но обуявшая его любовь была сродни любви пожилого к юной. Точно часы стучали и достукивали сроки в унисон с сердцем — глубинная, отчаянная потребность толкала Стара, вопреки всей логике его жизни, пройти с крыльца в дом и сказать: «Я к тебе навсегда».

А Кэтлин ждала, колеблясь сама, — розово-серебряный иней готов был растаять, дохни лишь весна. Как европейке, Кэтлин было свойственно почтение к сильным мира сего, но было в ней и ярое чувство собственного достоинства, приказывавшее: «Ни шагу дальше первая». Она не питала иллюзий насчет высших соображений, движущих королями.

— Завтра едем в горы, — сказал Стар. (Его решение может отразиться на тысячах людей; нужно разумно взвесить...) Так внезапно притупилось чутье Стара, которым он руководствовался двадцать лет.

Все субботнее утро он был очень занят. Когда в два часа дня он, поев, вернулся в кабинет, его ждал ворох телеграмм: съемочное судно затерялось в Арктике; попала в скандал кинозвезда; писатель предъявил иск на миллион долларов; евреи в Германии гибнут замученные. Последней метнулась в глаза телеграмма: «Сегодня утром вышла замуж. Прощайте»; и сбоку наклейка: «Пользуйтесь услугами Уэстерн Юнион Телеграм».

Глава VI

Ничего обо всем этом я не знала. Я ездила в Лек-Луиз, а вернувшись, не заглядывала уже на студию. Наверно, я так и уехала бы в середине августа на Восток, если бы однажды Стар не позвонил мне домой.

— У меня просьба, Сесилия, — устройте мне встречу с членом коммунистической партии.

— С кем именно? — спросила я, порядком удивленная.

— Все равно с кем.

— А у вас их разве мало на студиях?

— Я имею в виду не рядового, а организатора — из Нью-Йорка.

Год назад я увлекалась политикой и могла бы, наверно, в то лето устроить встречу с самим Гарри Бриджесом. Но каникулы кончились, а потом мой парень погиб в автомобильной катастрофе, и все мои контакты оборвались. Я, правда, слышала, что сейчас в Голливуде находится кто-то из журнала «Нью мэссис».

— Гарантируете неприкосновенность? — спросила я в шутку.

— Гарантирую, — ответил Стар серьезно. — Полную. Дайте такого, у кого язык хорошо подвешен. Пусть какую-нибудь свою книгу захватит.

Стар говорил так, точно речь шла о встрече с приверженцем культа «Я есмь».

— Вам блондинку или брюнетку?

— Нет-нет, мужчину мне давайте, — поспешно сказал Стар.

От его звонка я воспрянула духом. После того как я сунулась в кабинет к отцу, все на свете казалось мне барахтаньем в жидких помоях. Но голос Стара все менял — менялся мой угол зрения, даже воздух другим становился.

— Вы, пожалуй, отцу о нем не говорите. Пусть фигурирует у нас под видом болгарского музыканта, что ли, — сказал напоследок Стар.

— Да они теперь одеваются, как все, — сказала я.

Устроить встречу оказалось труднее, чем я думала, — переговоры Стара с Гильдией сценаристов, длившиеся год с лишним, почти зашли уже в тупик. Возможно, те, к кому я обращалась, опасались подкупа; меня спрашивали, что, собственно, Стар «выдвигает». Стар потом рассказал мне, как он готовился к встрече: прокрутил русские революционные ленты, которые хранились в его домашней фильмотеке. Извлечены были также «Доктор Калигари» и «Андалузский пес» Сальватора Дали — Стар полагал, видимо, что они имеют отношение к делу. Его еще в двадцатых годах поразили русские фильмы, и, по совету Уайли Уайта, он велел тогда сценарному отделу составить двухстраничный конспект «Коммунистического манифеста».

Но мозг его остался глух; Стар был рационалист по взглядам, причем доходил до всего без опоры на книги, — и он только-только выкарабкался из тысячелетних древностей еврейства в конец восемнадцатого века. Крах его убеждений был бы ему невыносим — Стар хранил свойственную самоучкам-парвеню пылкую верность вымечтанному прошлому.

Встреча состоялась в комнате, которую я называла «интерьерной», — ее и еще пять комнат отделал и обставил художник по интерьеру, приехавший к нам от Слоуна, и термин запомнился мне с той давней уже поры. Комната была донельзя интерьерная: ангорской шерсти ковер наинейшего расцветно-серого оттенка — нога не поднималась на него ступить; и серебристые панели, и обтянутые кожей столы, и картины кремовых тонов, и хрупкие изящные вещицы казались все такими легкозагрязнимыми, что мы дыхание сдерживали, входя; но, бывало, когда окна раскрыты и гардины капризно шелестят под ветром, станешь в дверях и любуешься. Комната эта была прямой потомок старой американской гостиной, куда пускали только по воскресеньям. Но для встречи она как раз подходила, и я надеялась этим способом ее освоить, убавить ей лоска и придать характера.

Стар прибыл первым. Он был бледен, нервничал, но голос оставался, как всегда, негромким и приветливым. У Стара была открытая мужская повадка — он подходил к вам прямо и вплотную, точно убрав с дороги все мешавшее, и вникал в вас с живым, непринужденным интересом. Я поцеловала его ни с того ни с сего и повела в «интерьерную».

— Когда кончаются ваши каникулы? — спросил он. Мы уже затрагивали прежде эту увлекательную тему.

— Чтобы вам понравиться, мне надо бы, наверно, стать чуть меньше ростом? — спросила я в ответ. — Я могу носить плоскую прическу и перейти на низкий каблук.

— Поедем вечером обедать, — предложил он. — Все будут думать, что я ваш отец, ну и пусть.

— Я обожаю поседелых, — заверила я. — Мужчина должен подпираться костылем, а иначе это просто детское амурничанье.

— А много у вас было амурничанья?

— Достаточно.

— Люди влюбчивы и разлюбчивы, цикл то и дело повторяется, да?

— Примерно каждые три года, по словам Фанни Брайс. Я в газете на днях читала.

— Не пойму, как у людей так ловко это получается. Но приходится верить глазам. Причем каждый раз у всех у них такой убежденно-влюбленный вид. И вдруг убежденность исчезает. А потом заново является.

— Вы слишком закопались в свои фильмы.
— И неужели во второй, и в третий, и в четвертый раз эта убежденность не слабеет?
— Напротив, крепнет, — сказала я. — Каждая новая влюбленность всегда убежденнее предыдущей.

Над этими словами он подумал и как будто согласился с ними.

— Пожалуй, что так. Каждая новая всегда убежденней.

Тон его не понравился мне, и я вдруг поняла, что он очень тоскует.

— Прямо наказание, — сказал он. — Скорей бы прошло и ушло.

— Ну зачем вы! Просто партнерша попалась не та. Тут доложили, что явился Бриммер — коммунист, — и я разлетелась к дверям его встречать, поскользнулась на одном из ковриков-паутинок и чуть-чуть не угодила ему в объятия.

Он был приятной внешности, этот Браммер, — слегка смахивал на Спенсера Трейси, но лицо тверже, осмысленнее, выразительней. Глядя, как они со Старом улыбаются, обмениваются рукопожатием и принимают боевую стойку, я невольно подумала, что такую собранность, готовность к борьбе редко встретишь. С этой минуты они нацелили внимание друг на друга; конечно, оба были со мной любезны дальше некуда, но интонация у них сама собой делалась «облегченной», когда они обращались ко мне.

— Что это вы, коммунисты, затеяли? — начал Стар. — Всю мою молодежь сбили с толку.

— Верней, вывели ее из спячки, — сказал Бриммер.

— Сперва мы пускаем полдюжины русских на студию — изучать ее в качестве образцовой, понимаете ли, кинофабрики, — продолжал Стар. — А вслед за тем вы принимаетесь разрушать ту целостность, то единство, которое как раз и делает студию образцовой.

— Единство? — переспросил Бриммер. — То бишь пресловутый «Дух Фирмы»?

— Да нет, — мотнул головой Стар. — Удар ваш явно направлен на меня. На прошлой неделе ко мне в кабинет пришел сценарист — неприкаянный пьяница, давно уже на грани алкогольного психоза — и стал меня учить, как работать.

— Ну, вас, мистер Стар, не очень-то поучишь, — улыбнулся Бриммер.

От чая не отказался ни тот, ни другой. Когда я вернулась, Стар рассказывал уже что-то забавное о братьях Уорнер, и Бриммер тоже посмеивался.

— А в другой раз пригласили братья Уорнер русского хореографа Баланчина поставить танцы братьям Риц. И Баланчин запутался во всех этих братьях. Все ходил и повторял: «Никак не затанцуют у меня братья Уорнер».

Беседа, кажется, шла по спокойному руслу. Бриммер спросил, почему продюсеры не оказывают поддержки Лиге борьбы против нацизма.

— Из-за вас, — ответил Стар. — Из-за того, что вы мутите сценаристов. В конечном счете, вы зря только время на них тратите. Они как дети — даже в спокойные времена им не хватает деловой сосредоточенности.

— Они в вашем бизнесе на положении фермера, — не горячась, возразил Бриммер. — Фермер растит хлеб, а праздник урожая — для других. У сценариста на продюсера та же обида, что у фермера на горожанина.

Я задумалась о том, все ли между Старом и той девушкой кончено. Позже, стоя с Кэтлин под дождем на грязной авеню Голдвина, я услышала от нее, как все тогда случилось (встреча Стара с Бриммером состоялась всего через неделю после телеграммы). Кэтлин ничего не могла сделать. Американец сошел с поезда, точно с неба свалился, и потащил ее регистрироваться, ни капельки не сомневаясь, что она именно этого хочет. Было восемь утра, и Кэтлин была в таком ошеломлении, что думала лишь о том, как бы дать телеграмму Стару. В теории можно, конечно, затормозив на трассе, объявить: «Послушай, я забыла сказать — я тут встретила одного человека». Но трасса эта была проложена Американцем с таким усердием, с такой

уверенностью, такие он усилия потратил и так радовался теперь, что Кэтлин повлекло за ним неотвратно, как вагон, когда вдруг стрелка переведена с прежней колеи. Американец смотрел через стол, как она пишет телеграмму, и Кэтлин на одно надеялась — что вверх ногами прочесть текст он не сумеет...

Когда я снова вслушалась в разговор, от бедных сценаристов оставались уже рожки да ножки, — Бриммер позволил себе согласиться с тем, что они народ «шаткий».

— Они не годятся руководить делом, — говорил Стар. — Твердую волю ничем не заменишь. Иногда приходится даже проявлять твердость, когда сам ее вовсе не ощущаешь.

— И со мной такое бывало.

— Приходится решать: «Должно быть так, а не иначе», хотя сам в этом далеко не уверен. У меня ежедневно случаются ситуации, когда, по существу, нет убедительных резонансов. А делаешь вид, будто есть.

— Всем руководителям знакомо это чувство, — сказал Бриммер. — И профсоюзным, и тем более военным.

— Вот и в отношении Гильдии сценаристов пришлось занять твердую позицию. Я вижу здесь попытку вырвать у меня власть, а все, что я готов дать сценаристам, — это деньги.

— Некоторым сценаристам вы и денег даете крайне мало. Тридцать долларов в неделю.

— Кому же это? — удивленно спросил Стар.

— Тем, кто посерее, кого легко заменить.

— У меня на студии таких ставок нет, — сказал Стар.

— Ну как же нет, — сказал Бриммер. — В отделе короткометражек два человека сидят на тридцати долларах.

— Кто именно?

— Фамилия одного — Рэнсом, другого — О'Брайен, Мы со Старом переглянулись, улыбнувшись.

— Они не сценаристы, — сказал Стар. — Это отец Сесилии родню пристроил.

— Но на других студиях есть, — сказал Бриммер. Стар налил себе в чайную ложку какого-то лекарства из бутылочки.

— Что такое «финк»? — неожиданно спросил он.

— Финк? Разговорное обозначение штрейкбрехера или секретного агента компании.

— Так я и думал, — сказал Стар. — У меня есть один сценарист с окладом в полторы тысячи. Он всякий раз, когда проходит по обеденному залу, пускает: «Финк!» — в спину кому-нибудь из обедающих коллег. Это было бы забавно, если бы они не пугались так.

— Интересно бы взглянуть на эту сцену, — усмехнулся Бриммер.

— Хотите провести со мной денек на студии? — предложил Стар.

Бриммер рассмеялся — весело, искренне.

— Нет, мистер Стар. Хотя не сомневаюсь, что впечатление у меня осталось бы сильное. Я слышал, вы один из самых умелых и упорных работников на всем Западе. Спасибо, рад бы вас понаблюдать, но придется отказать себе в этом удовольствии.

Стар взглянул на меня.

— Мае ваш приятель нравится, — сказал он. — Свихнувшийся, а нравится. — Он прищурился на Бриммера: — Родились в Америке?

— Да. У нас в роду уже несколько поколений американцев.

— И много вас таких?

— Отец у меня был баптистским священником.

— Я хочу спросить, много ли красных в вашей среде. Я не прочь бы встретиться с тем верзилой-евреем, что хотел разнести в пух и прах завод Форда. Забыл его фамилию...

— Франкенштейн?

— Он самый. У вас, я думаю, не один такой решительный.

— Решительных немало, — сказал Бриммер сухо.

— Но вы-то к ним не принадлежите? Тень досады прошла по лицу Бриммера.

— Отчего ж, — сказал он.

— Ну нет, — сказал Стар. — Быть может, раньше принадлежали.

Бриммер пожал плечами.

— Упор теперь, возможно, на другом, — сказал он. — В глубине души, мистер Стар, вы знаете, что правда за нами...

— Нет, — сказал Стар. — По-моему, все это куча вздора.

— В глубине души вы сознаете: «Он прав», но надеетесь дожить свой век при нынешнем строе.

— Неужели вы всерьез думаете, что уничтожите нашу систему правления?

— Нет, мистер Стар. Но думаем, что система может рухнуть от ваших собственных усилий.

Они поклевывали друг друга, обменивались легкими ударами, как это бывает у мужчин. И у женщин бывает — но уже не легкое, а беспощадное цапанье. Да и за мужской пикировкой наблюдать неприятно, потому что никогда не знаешь, чем она завершится. Уж конечно, не перебранку мне хотелось связывать в памяти потом с рассветными тонами моей комнаты; и, распахнув стеклянную дверь, я пригласила спорщиков в наш золотисто-спелый калифорнийский сад.

Стоял август, но дождеватели, сипя, поили сад свежей водой, и газон блестел повесенному. Я видела, как Бриммер потянулся к траве взглядом (я знаю этот их вздох по приволью). В саду Бриммер как бы покрупнел — оказался выше ростом и широк в плечах, слегка напомнив мне Супермена, когда тот снимает очки. «Он привлекательный, — подумалось мне, — насколько может быть привлекательным человек, которого женщины мало интересуют как женщины». Мы сыграли в пинг-понг, чередуясь; Бриммер неплохо действовал ракеткой. Слышно было, как с улицы в дом вошел отец, напевая идиотское свое «Доченька, ты приустила за день», и вдруг оборвал — вспомнил, должно быть, что я с ним не разговариваю. Было половина седьмого — машина моя стояла перед домом, и я сказала: «Поехали в «Трокадеро» обедать».

Виду Бриммера был в ресторане такой, как у патера О'Ни в тот раз в Нью-Йорке, когда мы с отцом повезли его на русский балет, и он замаскировал свой белый священнический воротничок, повернув его задом наперед: сан плохо согласуется с балетом. Когда же к нашему столику подошел Берни, подкарауливавший со своей фотокамерой крупную дичь, Бриммер и вовсе точно в западню попал, и Стар велел фотографу уйти; а жаль, я бы сохранила этот снимок.

Затем, к моему удивлению, Стар выпил три коктейля один за другим.

— Теперь уж я точно знаю, что вам не повезло в любви, — сказала я.

— А почему вы так думаете?

— А потому, что пьете с горя.

— Но я не пью, Сесилия. У меня от спиртного диспепсия. Я в жизни не был пьян. Я пересчитала пустые бокалы:

— ... два... три!

— Это я машинально. И вкуса не ощутил. Только подумал — что-то не то.

Взгляд у Стара неожиданно сделался тупо-стеклянным, но лишь на секунду.

— Первая рюмка за всю неделю, — сказал Бриммер. — Я пил, когда служил на флоте.

Глаза Стара опять остекленели, он подмигнул мне глупо и сказал:

— Этот сукин агитатор обрабатывал военных моряков.

Бриммер поднял брови. Но, решив, очевидно, принять эти слова как ресторанный шутку, он слегка улыбнулся, и я увидела, что Стар тоже улыбнулся. Слава Богу, все осталось в рамках великой американской традиции, и я хотела было завладеть разговором, но Стар вдруг отогнал опьянение.

— Вот, к примеру, с чем я сталкиваюсь, — заговорил он очень четко и трезво. — Лучший режиссер Голливуда — я в его работу никогда не вмешиваюсь, — но есть у него некая причуда,

и во всякую свою картину он непременно вставит педераста или что-нибудь еще. Дурнопахнущее что-нибудь. Как водяной знак оттиснет, так что и вытравить нельзя. И с каждой его новой выходкой Легион благопристойности припирает меня сильнее, и приходится жертвовать чем-то взамен из другого фильма, вполне добротного.

— Каждый организатор сталкивается с подобным, — кивнул Бриммер.

— Вот именно. Приходится вести непрерывное сражение. А теперь этот режиссер и вовсе заявляет мне, что он член Гильдии режиссеров и она не даст в обиду угнетаемых и неимущих. Вот так вы прибавляете мне хлопот.

— К нам это имеет весьма отдаленное отношение, — улынулся Бриммер. — Не думаю, чтобы с режиссерами нам удалось о многом договориться.

— Раньше режиссеры были мне друзья-приятели, — сказал Стар с той же забавной гордостью, с какой Эдуард Седьмой хвалился, что вхож в лучшие дома Европы.

— Но когда началась эра звука, — продолжал он, — я стал приглашать театральных режиссеров. Это подстегнуло кинорежиссеров и заставило переучиваться заново, — чего они мне, в сущности, так и не простили. В тот период мы нанесли на Востоке целый взвод сценаристов, и я считал их славными ребятами, пока они не превратились в красных.

Вошел Гари Купер и сел в углу с кучкой прихлебал, присосавшихся к нему намертво. Оглянулась женщина, сидящая за дальним столиком, и оказалась Каролой Ломбард. Я была рада, что Бриммер, по крайней мере, назовется на звезд.

Стар заказал виски с содовой, и почти сразу же — еще порцию. Кроме двух-трех ложек супа, он ничего не ел, а только пошло всех ругал: мол, кругом дрянные лодыри, но ему плевать, у него денег хватает. Эту песню всегда можно слышать, когда отец сидит с компанией. Стар, кажется, и сам понял, что мелодия эта звучит непротивно только в узком кругу, — может быть, впервые затянул ее и понял тут же. Во всяком случае, он замолчал и выпил залпом чашку черного кофе. Любовь моя к нему слабей не стала, но мне жутко не хотелось, чтобы Бриммер унес о нем такое впечатление. Стар должен был предстать виртуозом кинодела, а вместо этого сыграл злого надсмотрщика и безбожно пережал — и сам забраковал бы такую игру на экране.

— Я выпускаю картины, — сказал он, как бы внося поправку. — Я сценаристов люблю — и думаю, что понимаю их. Раз человек свое дело делает, то гнать его с работы нечего.

— Мы с этим согласны, — сказал Бриммер любезным тоном. — Мы бы вас оставили при деле — переняли бы на ходу, как перенимают действующее предприятие.

Стар сумрачно кивнул.

— Хотел бы я, чтобы вы послушали моих компаньонов, когда они в сборе. Они приведут двадцать причин, по которым вас, коммунистов, надо гнать всех вон из Лос-Анджелеса.

— Мы ценим ваше заступничество, — сказал Бриммер не без иронии. — Говоря откровенно, мистер Стар, мы видим в вас помеху именно потому, что вы предприниматель «отеческого» толка и ваше влияние очень велико.

Стар слушал рассеянно.

— Я никогда не считал, — сказал он, — что я мозговитый сценариста. Но всегда считал себя вправе распоряжаться его мозгом — потому что знаю, как им распорядиться. Возьмем римлян — я слышал, они не изобретали ничего, но знали, как употребить изобретенное. Понимаете? Я не говорю, что это правильно. Но таков был с детства мой подход.

К этим словам Стара Бриммер отнесся с интересом — впервые за целый час.

— Вы отлично знаете себя, мистер Стар, — подытожил он.

По-моему, Бриммеру хотелось уже уйти. Ему было любопытно узнать, что Стар за человек, и теперь он составил о нем мнение. Все еще надеясь это мнение изменить, я потащила Бриммера опять к нам домой; но когда Стар, задержавшись у стойки, выпил снова, я поняла, что совершаю ошибку.

Вечер был кроткий, безветренный, запруженный субботними автомобилями. Рука Стара лежала на спинке сиденья, касаясь моих волос. «Перенести бы все лет на десять назад», —

подумалось мне. Я была тогда девятилетней девочкой, Бриммер — студентиком лет восемнадцати, где-нибудь на Среднем Западе, а Стар — двадцатипятилетним, только что взошедшим на кинопрестол и полным радостной уверенности. И несомненно, оба мы смотрели бы на Стара с великим уважением. А вместо этого теперь — конфликт между взрослыми людьми, усугубленный усталостью и алкоголем, и мирно его не разрешить.

— Мы свернули к дому, я направила машину снова в сад.

— Теперь разрешите проститься, — сказал Бриммер. — У меня назначена деловая встреча.

— Нет, не уходите, — сказал Стар. — Я еще ничего не сказал из того, что хотел сказать. Сыграем в пинг-понг, добавим рюмку, а потом уж сцепимся всерьез.

Бриммер заколебался. Стар включил юпитер, взял ракетку, а я сходила в дом за виски, не смея послушаться Стара. Когда я вернулась, у них вместо игры шло гулянье — Стар кончал уже опустошать коробку мячиков для пинг-понга, посылая их в Бриммера один за другим, а Бриммер отбивал их в сторону. Стар взял у меня бутылку и сел в кресло поодаль, хмурясь оттуда грозно и властительно. Он был бледен, до того прозрачен, что почти видно было, как алкоголь течет по жилам и смешивается с другой отравой — усталостью.

— В субботний вечер можно и покайфовать, — сказал он.

— Сомнительный кайф, — сказала я. Стара явно одолевала эта тяга — уйти в изнеможение, в шизофреническую тьму.

— Сейчас я Бриммера буду бить, — объявил он через минуту. — Займусь этим лично.

— А не проще ли нанять кого-нибудь? — спросил Бриммер.

Я знаком попросила его молчать.

— Я не перекладываю на других грязную работу, — сказал Стар. — Разделаю вас под орех и отправлю вон из Калифорнии.

Он поднялся с кресла, но я остановила его, обхватив руками.

— Перестаньте сейчас же! О, какой вы нехороший.

— Вы уже на поводу у этого субъекта, — мрачно проговорил Стар. — Вся молодежь у него на поводу. Несмысленыши вы.

— Уходите, прошу вас, — сказала я Бриммеру. Костюм у Стара был скользко-шелковистый, и он вдруг выскользнул из моих рук и пошел на Бриммера. Тот, пятясь, отступил за стол — со странным выражением на лице, которое я потом расшифровала так: «И только-то? Всему делу помеха — вот этот полубольной мозгляк?»

Стар надвинулся, взмахнул рукой. С минуту примерно Бриммер держал его левой на расстоянии от себя, а потом я отвернулась, не в силах дольше смотреть.

Когда взглянула опять, Стар уже лег куда-то за теннисный стол, а Бриммер стоял и смотрел на него:

— Прошу вас, уходите, — сказала я.

— Ухожу, — он все смотрел на Стара; я обошла стол. — Я всегда мечтал, чтобы на мой кулак напоролись десять миллионов долларов, но не предполагал, что выйдет таким образом.

Стар лежал без движения.

— Уедите, пожалуйста, — сказала я.

— Не сердитесь... Я помогу...

— Нет. Уходите, прошу. Я не виню вас. Он снова взглянул на лежащего, слегка устрешенный тем, как основательно усыпил его в какую-то долю секунды. И быстро пошел прочь по траве, а я присела на корточки, принялась тормозить Стара. Он очнулся, весь судорожно дернувшись, и вскочил на ноги.

— Где он? — воскликнул Стар.

— Кто? — спросила я наивным тоном.

— Американец. Какой тебя дьявол толкал за него выходить, дура несчастная?

— Он ушел, Монро. Я ни за кого не выходила. Я усадила Стара в кресло.

— Он уже полчаса как ушел, — соврала я. Раскиданные пинг-понговые мячики созвездием блестели из травы. Я открыла кран дождевателя, намочила платок и вернулась к Стару, но синяка на лице не видно было — должно быть, удар пришелся сбоку, в волосы. Стар отошел за деревья, и его стошнило там; я слышала, как он потом нагреб земли ногой, засыпал. Возвратился он посвежевший, но, прежде чем идти в дом, попросил чего-нибудь прополоскать рот, и я унесла виски и принесла бутылку с полосканием. Тем и кончилась его жалкая попытка напиться. Мне случалось наблюдать, как назююкиваются первокурсники, но по неумелости полнейшей, по отсутствию всякой вакхической искры Стар их бесспорно превзошел. Ему достались тошнота и шишки, и больше ничего.

Мы вошли в дом; узнав от кухарки, что на веранде отец с Маркусом и Флайшэкером, мы повернули в «интерьерную». Но где ни пытались сесть, всюду была лощеная скользкая кожа, и наконец я устроилась на меховом коврикe, а Стар — рядом, на скамеечке для ног.

— А он крепко получил? — спросил Стар.

— О да, — ответила я. — Очень крепко.

— Вряд ли. — Помолчав, он прибавил: — Бить я его не хотел. Просто хотел прогнать. Он испугался, видимо, и двинул меня.

С этим — очень вольным — истолкованием случившегося я не собиралась спорить, спросила только:

— В душе, наверно, теперь злость на Бриммера?

— Да нет, — сказал Стар. — Я же был пьян. — Он огляделся. — В этой комнате я раньше не бывал. Кто ее декорировал? С нашей студии кто-нибудь?

— Что ж, пора и трогаться, — сказал он затем, уже обычным своим приятным тоном. — Съездим-ка мы, на ночь глядя, к Дугу Фербенксу на ранчо, — предложил он мне. — Я знаю, он вам обрадуется.

Так начались те две недели, когда нас всюду видели вместе. Достало уже и одной, чтобы Луэлла поженила нас в своей колонке светской хроники.

(На этом рукопись обрывается)

1940